ГУЗЕЛЬ ЯХИНА

Зулейха открывает глаза

РОМАН

ПРЕМИИ "БОЛЬШАЯ КНИГА"

И "ЯСНАЯ ПОЛЯНА"

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Иллюстрированный бестселлер

Гузель Яхина

Зулейха открывает глаза

«Издательство АСТ»

2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Яхина Г. Ш.

Зулейха открывает глаза / Г. Ш. Яхина — «Издательство АСТ», 2015 — (Иллюстрированный бестселлер)

ISBN 978-5-17-146400-4

Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премий “Большая книга” и “Ясная Поляна”, автор бестселлеров “Зулейха открывает глаза”, “Дети мои”, “Эшелон на Самарканд”. Действие романа “Зулейха открывает глаза” начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-146400-4

© Яхина Г. Ш., 2015
© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Любовь и нежность в аду 6
Часть первая 7
Один день 7
Стук в окно 22
Встреча 32
Часть вторая 46
В дорогу 46
Кофе 55
Конец ознакомительного фрагмента. 65

Гузель Шамилевна Яхина
Зулейха открывает глаза

© Яхина Г.Ш.
© Улицкая Л.Е., предисловие
© Зайцева А.В., иллюстрации
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”

Любовь и нежность в аду

Этот роман принадлежит тому роду литературы, который, казалось бы, совершенно утрачен со времени распада СССР. У нас была прекрасная плеяда двукультурных писателей, которые принадлежали одному из этносов, населяющих империю, но писавших на русском языке. Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов… Традиции этой школы – глубокое знание национального материала, любовь к своему народу, исполненное достоинства и уважения отношение к людям других национальностей, деликатное прикосновение к фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет, исчезнувший материк. Но произошло редкое и радостное событие – пришел новый прозаик, молодая татарская женщина Гузель Яхина и легко встала в ряд этих мастеров.

Роман “Зулейха открывает глаза” – великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы – попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы.

Несколько кинематографичный стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов, а публицистичность не только не разрушает повествования, но, напротив, оказывается достоинством романа. Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени. Словосочетание “женская литература” несет в себе пренебрежительный оттенок – в большой степени по милости мужской критики. Между тем женщины лишь в двадцатом веке освоили профессии, которые до этого времени считались мужскими: врачи, учителя, ученые, писатели. Плохих романов за время существования жанра мужчинами написано в сотни раз больше, чем женщинами, и с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель Яхиной – вне всякого сомнения – женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду…

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, 2015 г.

Часть первая
Мокрая курица

Один день

Зулейха открывает глаза. Темно, как в погребе. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жеребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окошком у изголовья – глухой стон январской метели. Но из щелей не дует – спасибо Муртазе, законопатил окна до холодов. Муртаза – хороший хозяин. И хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче, перед рассветом – самый глубокий сон.

Пора. Аллах Всемогущий, дай исполнить задуманное – пусть никто не проснется.

Зулейха бесшумно спускает на пол одну босую ногу, вторую, опирается о печь и встает. За ночь та остыла, тепло ушло, холодный пол обжигает ступни. Обуться нельзя – бесшумно пройти в войлочных ката не получится, какая-нибудь половица да и скрипнет. Ничего, Зулейха потерпит. Держась рукой за шершавый бок печи, пробирается к выходу с женской половины. Здесь узко и тесно, но она помнит каждый угол, каждый уступ – полжизни скользит туда-сюда, как маятник, целыми днями: от котла – на мужскую половину с полными и горячими пиалами, с мужской половины – обратно с пустыми и холодными.

Сколько лет она замужем? Пятнадцать из своих тридцати? Это даже больше половины жизни, наверное. Нужно будет спросить у Муртазы, когда он будет в настроении, – пусть подсчитает.

Не запнуться о палас. Не удариться босой ногой о кованый сундук справа у стены. Перешагнуть скрипучую доску у изгиба печи. Беззвучно прошмыгнуть за ситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской… Вот уже и дверь недалеко.

Храп Муртазы ближе. Спи, спи ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа, но что поделаешь – приходится.

Теперь главное – не разбудить животных. Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильные холода Муртаза велит брать молодняк и птицу домой. Гуси не шевелятся, а жеребенок стукнул копытцем, встряхнул головой – проснулся, чертяка. Хороший будет конь, чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной морде: успокойся, свои. Тот благодарно

пыхает ноздрями в ладонь – признал. Зулейха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубаху и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму войлоком, она тяжело подается, сквозь щель влетает колкое морозное облако. Делает шаг, переступая высокий порог, – не хватало еще наступить на него именно сейчас и потревожить злых духов, тьфу-тьфу! – и оказывается в сенях. Притворяет дверь, опирается о нее спиной.

Слава Аллаху, часть пути пройдена.

В сенях холодно, как на улице, – кожу щиплет, рубаха не греет. Струи ледяного воздуха бьют сквозь щели пола в босые ступни. Но это не страшно.

Страшное – за дверью напротив.

Убырлы карчык – Упыриха. Зулейха ее так про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь живет с ними не в одной избе. Дом Муртазы просторный, в две избы, соединенные общими сенями. В день, когда сорокапятилетний Муртаза привел в дом пятнадцатилетнюю Зулейху, Упыриха с мученической скорбью на лице сама перетаскала свои многочисленные сундуки, тюки и посуду в гостевую избу и заняла ее всю. “Не тронь!” – грозно крикнула она сыну, когда тот попытался помочь с переездом. И не разговаривала с ним два месяца. В тот же год начала быстро и безнадежно слепнуть, а еще через некоторое время – глохнуть. Спустя пару лет была слепа и глуха, как камень. Зато теперь разговаривала много, не остановить.

Никто не знал, сколько ей было на самом деле лет. Она утверждала, что сто. Муртаза недавно сел подсчитывать, долго сидел – и объявил: мать права, ей действительно около ста. Он был поздним ребенком, а сейчас уже сам – почти старик.

Упыриха обычно просыпается раньше всех и выносит в сени свое бережно хранимое сокровище – изящный ночной горшок молочно-белого фарфора с нежно-синими васильками на боку и причудливой крышкой (Муртаза привез как-то в подарок из Казани). Зулейхе полагается вскочить на зов свекрови, опорожнить и осторожно вымыть драгоценный сосуд – первым делом, перед тем как топить печь, ставить тесто и выводить корову в стадо. Горе ей, если проспит эту утреннюю побудку. За пятнадцать лет Зулейха проспала дважды – и запретила себе вспоминать, что было потом.

За дверью пока – тихо. Ну же, Зулейха, мокрая курица, поторопись. Мокрой курицей – *жебегян тавык* – ее впервые назвала Упыриха. Зулейха не заметила, как через некоторое время и сама стала называть себя так.

Она крадется в глубь сеней, к лестнице на чердак. Нащупывает гладко отесанные перила. Ступени крутые, подмерзшие доски чуть слышно постанывают. Сверху веет стылым деревом, мерзлой пылью, сухими травами и едва различимым ароматом соленой гусятины. Зулейха поднимается – шум метели ближе, ветер бьется о крышу и воет в углах.

По чердаку решает ползти на четвереньках – если идти, доски будут скрипеть прямо над головой у спящего Муртазы. А ползком она прошмыгнет, веса в ней – всего ничего, Муртаза одной рукой поднимает, как барана. Она подтягивает ночную рубаху к груди, чтобы не испачкалась в пыли, перекручивает, берет конец в зубы – и на ощупь пробирается между ящиками, коробами, деревянными инструментами, аккуратно переползает через поперечные балки. Утыкается лбом в стену. Наконец-то.

Приподнимается, выглядывает в маленькое чердачное окошко. В темно-серой предутренней мгле едва проглядывают занесенные снегом дома родного Юлбаша. Муртаза как-то считал – больше ста дворов получилось. Большая деревня, что говорить. Деревенская дорога, плавно изгибаясь, рекой утекает за горизонт. Кое-где в домах уже зажглись окна. Скорее, Зулейха.

Она встает и тянется вверх. В ладони ложится что-то тяжелое, гладкое, крупно-пупырчатое – соленый гусь. Желудок тотчас вздрагивает, требовательно рычит. Нет, гуся брать нельзя. Отпускает тушку, ищет дальше. Вот! Слева от чердачного окошка висят большие и тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная

пастила. Тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Можно откусывать по чуть-чуть и долго рассасывать, катая шершавый кислый кусочек по нёбу, а можно набить рот и жевать, жевать упругую массу, сплевывая в ладонь изредка попадающиеся зерна… Рот мгновенно заливает слюна.

Зулейха срывает пару листов с веревки, скручивает их плотно и засовывает под мышку. Проводит рукой по оставшимся – много, еще очень много осталось. Муртаза не должен догадаться.

А теперь – обратно.

Она встает на колени и ползет к лестнице. Свиток пастилы мешает двигаться быстро. Вот ведь действительно – мокрая курица, не догадалась какую-нибудь торбу взять с собой. По лестнице спускается медленно: ног не чувствует – закоченели, приходится ставить онемевшие ступни боком, на ребро. Когда достигает последней ступеньки, дверь со стороны Упырихи с шумом распахивается, и светлый, едва различимый силуэт возникает в черном проеме. Стукает об пол тяжелая клюка.

– Есть кто? – спрашивает Упыриха темноту низким мужским голосом.

Зулейха замирает. Сердце ухает, живот сжимается ледяным комом. Не успела… Пастила под мышкой оттаивает, мягчеет.

Упыриха делает шаг вперед. За пятнадцать лет слепоты она выучила дом наизусть – передвигается в нем уверенно, свободно.

Зулейха взлетает на пару ступенек вверх, крепче прижимая к себе локтем размякшую пастилу.

Старуха ведет подбородком в одну сторону, в другую. Не слышит ведь ничего, не видит – а чувствует, старая ведьма. Одно слово – Упыриха. Клюка стучит громко – ближе, ближе. Эх, разбудит Муртазу…

Зулейха перескакивает еще на несколько ступенек выше, жмется к перилам, облизывает пересохшие губы.

Белый силуэт останавливается у подножия лестницы. Слышно, как старуха принюхивается, с шумом втягивая ноздрями воздух. Зулейха подносит ладони к лицу – так и есть, пахнут гусятиной и яблоками. Вдруг Упыриха делает ловкий выпад вперед и наотмашь бьет длинной клюкой по ступеням лестницы, словно разрубая их мечом пополам. Конец палки свистит где-то совсем близко и со звоном вонзается в доску в полупальце от босой ступни Зулейхи. Тело слабеет, тестом растекается по ступеням. Если старая ведьма ударит еще раз… Упыриха бормочет что-то невнятное, подтягивает к себе клюку. Глухо звякает в темноте ночной горшок.

– Зулейха! – зычно кричит Упыриха на сыновью половину избы.

Так обычно начинается утро в доме.

Зулейха сглатывает высохшим горлом комок плотной слюны. Неужели обошлось? Аккуратно переставляя ступни, сползает по лестнице. Выжидает пару мгновений.

– Зулейха-а-а!

А вот теперь – пора. Третий раз повторять свекровь не любит. Зулейха подскакивает к Упырихе – “Лечу, лечу, мама!” – и берет из ее рук тяжелый, покрытый теплой липкой испариной горшок, как делает это каждый день.

– Явилась, мокрая курица, – ворчит та. – Только спать и горазда, лентяйка…

Муртаза наверняка проснулся от шума, может выйти в сени. Зулейха сжимает под мышкой пастилу (не потерять бы на улице!), нащупывает ногами на полу чьи-то валенки и выскакивает на улицу. Метель бьет в грудь, берет в плотный кулак, пытаясь сорвать с места. Рубаха поднимается колоколом. Крыльцо за ночь превратилось в сугроб – Зулейха спускается вниз, еле угадывая ногами ступеньки. Проваливаясь почти по колено, бредет к отхожему месту. Борется

с дверью, открывая ее против ветра. Швыряет содержимое горшка в оледенелую дыру. Когда возвращается в дом, Упырихи уже нет – ушла к себе.

На пороге встречает сонный Муртаза, в руке – керосиновая лампа. Кустистые брови сдвинуты к переносице, морщины на мятых со сна щеках глубоки, словно вырезаны ножом.

– Сдурела, женщина? В метель – нагишом!

– Я только горшок мамин вынесла – и обратно…

– Опять хочешь ползимы больная проваляться? И весь дом на меня взвалить?

– Что ты, Муртаза! Я и не замерзла совсем. Смотри! – Зулейха протягивает вперед ярко-красные ладони, плотно прижимая локти к поясу, – под мышкой топорщится пастила. Не видно ли ее под рубахой? Ткань промокла на снегу, липнет к телу.

Но Муртаза сердится, на нее даже не смотрит. Сплевывает в сторону, растопыренной ладонью оглаживает бритый череп, расчесывает взлохмаченную бороду.

– Есть давай. А расчистишь двор – собирайся. За дровами поедем.

Зулейха низко кивает и шмыгает за чаршау.

Получилось! У нее получилось! Ай да Зулейха, ай да мокрая курица! Вот она, добыча: две смятые, перекрученные, слипшиеся тряпицы вкуснейшей пастилы. Удастся ли отнести сегодня? И где это богатство спрятать? Дома оставить нельзя: в их отсутствие Упыриха копается в вещах. Придется носить с собой. Опасно, конечно. Но сегодня Аллах, кажется, на ее стороне – должно повезти.

Зулейха туго заворачивает пастилу в длинную тряпицу и обматывает вокруг пояса. Сверху опускает исподнюю рубаху, надевает кульмэк, шаровары. Переплетает косы, накидывает платок.

Плотный сумрак за окошком в изголовье ее ложа становится жиже, разбавляется чахлым светом пасмурного зимнего утра. Зулейха откидывает занавески – все лучше, чем в темноте работать. Керосинка, стоящая на углу печи, бросает немного косого света и на женскую половину, но экономный Муртаза подкрутил фитилек так низко, что огонек почти не виден. Не страшно, она могла бы все делать и с завязанными глазами.

Начинается новый день.

Еще до полудня утренняя метель стихла и солнце проглянуло на ярко заголубевшем небе. Выехали за дровами.

Зулейха сидит на задке саней спиной к Муртазе и смотрит на удаляющиеся дома Юлбаша. Зеленые, желтые, темно-голубые, они яркими грибами выглядывают из-под сугробов. Высокие белые свечи дыма тают в небесной сини. Громко и вкусно хрустит под полозьями снег. Изредка фыркает и встряхивает гривой бодрая на морозе Сандугач. Старая овечья шкура под Зулейхой согревает. А на животе теплеет заветная тряпица – тоже греет. Сегодня, лишь бы успеть отнести сегодня…

Руки и спина ноют – ночью намело много снега, и Зулейха долго вгрызалась лопатой в сугробы, расчищая во дворе широкие дорожки: от крыльца – к большому амбару, к малому, к нужнику, к зимнему хлеву, к заднему двору. После работы так приятно побездельничать на мерно покачивающихся санях – сесть поудобнее, закутаться поглубже в пахучий тулуп, засунуть коченеющие ладони в рукава, положить подбородок на грудь и прикрыть глаза…

– Просыпайся, женщина, приехали.

Громадины деревьев обступили сани. Белые подушки снега на еловых лапах и раскидистых головах сосен. Иней на березовых ветвях, тонких и длинных, как женский волос. Могучие валы сугробов. Молчание – на многие версты окрест.

Муртаза повязывает на валенки плетеные снегоступы, спрыгивает с саней, закидывает на спину ружье, заправляет за пояс большой топор. Берет в руки палки-упоры и, не оглядываясь, уверенно тропит дорожку в чащу. Зулейха – следом.

Лес возле Юлбаша хороший, богатый. Летом кормит деревенских крупной земляникой и сладкой зернистой малиной, осенью – пахучими грибами. Дичи много. Из глубины леса течет Чишмэ – обычно ласковая, мелкая, полная быстрой рыбы и неповоротливых раков, а по весне стремительная, ворчащая, набухшая талым снегом и грязью. Во времена Большого голода только они и спасали – лес и река. Ну и милость Аллаха, конечно.

Сегодня Муртаза далеко заехал, почти до конца лесной дороги. Дорога эта была проложена в давние времена и вела до границы светлой части леса. Потом втыкалась в Крайнюю поляну, окруженную девятью кривыми соснами, и обрывалась. Дальше пути не было. Лес заканчивался – начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище диких зверей, лесных духов и всякой дурной нечисти. Вековые черные ели с похожими на копья острыми вершинами росли в урмане так часто, что коню не пройти. А светлых деревьев – рыжих сосен, крапчатых берез, серых дубов – там не было вовсе.

Говорили, что через урман можно прийти к землям марийцев – если идти от солнца много дней подряд. Да какой же человек в здравом уме решится на такое?! Даже во времена Большого голода деревенские не смели преступать границу Крайней поляны: объели кору с деревьев, перемололи желуди с дубов, разрыли мышиные норы в поисках зерна – в урман не ходили. А кто ходил – тех больше не видели.

Зулейха останавливается на мгновение, ставит на снег большую корзину для хвороста. Беспокойно оглядывается – все-таки зря Муртаза заехал так далеко.

– Далеко еще, Муртаза? Я уже Сандугач сквозь деревья не вижу.

Муж не отвечает – пробирается вперед по пояс в целине, упираясь в сугробы длинными палками и сминая хрусткий снег широкими снегоступами. Только облачко морозного пара то и дело поднимается над головой. Наконец останавливается возле ровной высокой березы с пышным наростом чаги, одобрительно хлопает по стволу: вот эту.

Сначала утаптывают снег вокруг. Потом Муртаза скидывает тулуп, ухватывает покрепче изогнутое топорище, указывает топором в просвет между деревьями (туда будем валить) – и начинает рубить.

Лезвие взблескивает на солнце и входит в березовый бок с коротким гулким “чах”. “Ах! Ах!” – отзывается эхо. Топор стесывает толстую, причудливо изрисованную черными буграми кору, затем вонзается в нежно-розовую древесную мякоть. Щепа брызжет, как слезы. Эхо наполняет лес.

“И в урмане слышно”, – тревожно думает Зулейха. Она стоит чуть поодаль, по пояс в снегу, обхватив корзину, – и смотрит, как Муртаза рубит. Далеко, с оттягом, замахивается, упруго сгибает стан и метко бросает топор в щепастую белую щель на боку дерева. Сильный мужчина, большой. И работает умело. Хороший муж ей достался, грех жаловаться. Сама-то она мелкая, еле достает Муртазе до плеча.

Скоро береза начинает вздрагивать сильнее, стонать громче. Выеденная топором в стволе рана похожа на распахнутый в немом крике рот. Муртаза бросает топор, отряхивает с плеч сучки и веточки, кивает Зулейхе: помогай. Вместе они упираются плечами в шершавый ствол и толкают его – сильнее, сильнее. Шкворчащий треск – и береза с громким прощальным стоном рушится оземь, поднимая в небо облака снежной пыли.

Муж, оседлав покоренное дерево, обрубает с него толстые ветки. Жена – обламывает тонкие и собирает их в корзину вместе с хворостом. Работают долго, молча. Поясницу ломит, плечи наливаются усталостью. Руки, хоть и в рукавицах, мерзнут.

– Муртаза, а правда, что твоя мать по молодости ходила в урман на несколько дней и вернулась целехонькая? – Зулейха распрямляет спину и выгибается в поясе, отдыхая. – Мне абыстай рассказывала, а ей – ее бабка.

Тот не отвечает, примериваясь топором к кривой узловатой ветке, торчащей из ствола.

– Я бы умерла от страха, если бы оказалась там. У меня бы тут же ноги отнялись, наверное. Лежала бы на земле, глаза зажмурила – и молилась бы не переставая, пока язык шевелится.

Муртаза крепко ударяет, и ветка пружинисто отскакивает в сторону, гудя и подрагивая.

– Но, говорят, в урмане молитвы не работают. Молись – не молись, все одно – погибнешь… Как ты думаешь… – Зулейха понижает голос, – …есть на земле места, куда не проникает взор Аллаха?

Муртаза широко размахивается и глубоко вгоняет топор в звенящее на морозе бревно. Снимает малахай, утирает ладонью раскрасневшийся, пышущий жаром голый череп и смачно плюет под ноги.

Опять принимаются за работу.

Скоро корзина для хвороста полна – такую не поднять, только волочь за собой. Береза – очищена от веток и разрублена на несколько бревен. Длинные ветви лежат аккуратными вязанками в сугробах вокруг.

Не заметили, как стало темнеть. Когда Зулейха поднимает глаза к небу, солнце уже скрыто за рваными клоками туч. Налетает сильный ветер, свистит и взвивается поземка.

– Поедем домой, Муртаза, опять метель начинается.

Муж не отвечает, продолжая обматывать веревками толстые связки дров. Когда последняя вязанка готова, метель уже волком завывает меж деревьев, протяжно и зло.

Он указывает меховой рукавицей на бревна: сначала перетаскаем их. Четыре бревна в обрубках бывших ветвей, каждое – длиннее Зулейхи. Муртаза, крякнув, отрывает от земли один конец самого толстого бревна. Зулейха берется за второй. Сразу поднять не получается, она долго копошится, приноравливаясь к толстому и шершавому дереву.

– Ну же! – нетерпеливо вскрикивает Муртаза. – Женщина!

Наконец сумела. Обняв бревно обеими руками, прижавшись грудью к розоватой белизне свежего дерева, ощерившейся длинными острыми щепками. Двигаются к саням. Идут медленно. Руки дрожат. Лишь бы не уронить, Всевышний, лишь бы не уронить. Если упадет на ногу – останешься калекой на всю жизнь. Становится жарко – горячие струйки текут по спине, животу. Заветная тряпица под грудью промокает насквозь – пастила будет отдавать солью. Это ничего, только бы успеть ее сегодня отнести…

Сандугач послушно стоит на том же месте, лениво перебирая ногами. Волков этой зимой мало, субхан Алла, поэтому Муртаза не боится оставлять лошадь одну надолго.

Когда затащили бревно на сани, Зулейха падает рядом, скидывает рукавицы, ослабляет платок на шее. Дышать больно, словно бежала, не останавливаясь, через всю деревню.

Муртаза, не сказав ни слова, шагает обратно к дровам. Зулейха сползает с саней и тащится следом. Перетаскивают оставшиеся бревна. Потом вязанки из толстых ветвей. Затем из тонких.

Когда дрова уложены на санях, лес уже укрыт плотными зимними сумерками. У пня свежесрубленной березы осталась только корзина Зулейхи.

– Хворост сама принесешь, – бросает Муртаза и принимается закреплять дрова.

Ветер разыгрался не на шутку, сердито кидает облака снега во все стороны, заметая вытоптанные людьми следы. Зулейха прижимает рукавицы к груди и бросается по еле заметной тропинке в темноту леса.

Пока добиралась до знакомого пня, корзину уже замело. Отламывает с куста ветку, принимается бродить вокруг, тыкая прутом в снег. Если потеряет – плохо ей придется. Муртаза

поругает и остынет, а вот Упыриха – та набранится всласть, изойдет ядом, будет припоминать эту корзину до самой смерти.

Да вот же она, милая, лежит! Зулейха выволакивает тяжелую корзину из-под толщи сугроба и облегченно выдыхает. Можно возвращаться. Но куда идти? Вокруг свирепо танцует метель. Белые потоки снега стремительно несутся по воздуху вверх и вниз, окутывая Зулейху, пеленая, опутывая. Небо огромной серой ватой провисло меж острых вершин елей. Деревья вокруг налились темнотой и стали похожи друг на друга, как тени.

Тропы – нет.

– Муртаза! – кричит Зулейха, в рот швыряет снегом. – Муртаза-а-а!..

Метель поет, звенит, свиристит в ответ.

Тело слабеет, ноги становятся рыхлыми, будто сами из снега. Зулейха оседает на пень спиной к ветру, придерживая одной рукой корзину, а другой ворот тулупа. Уходить с места нельзя – заплутает. Лучше ждать здесь. Может ли Муртаза оставить ее в лесу? Вот бы Упыриха обрадовалась… А как же добытая пастила? Неужели зря?..

– Муртаза-а-а!

Из снежного облака выступает большая темная фигура в малахае. Крепко ухватив жену за рукав, Муртаза волочет ее за собой через буран.

На сани сесть не разрешает – дров много, лошадь не выдюжит. Так и идут: Муртаза спереди, ведя Сандугач под уздцы, а Зулейха следом, держась за задок и еле перебирая заплетающимися ногами. В валенки набился снег, но вытряхивать нет сил. Сейчас нужно – успевать шагать. Переставлять ноги: правую, левую, правую, левую… Ну давай же, Зулейха, мокрая курица. Сама знаешь: если отстать от саней – тебе конец, Муртаза не заметит. Так и замерзнешь в лесу.

А все-таки какой он хороший человек – вернулся за ней. Мог бы и оставить там, в чаще, – кому какое дело, жива она или нет. Сказал бы: заблудилась в лесу, не нашел – через день никто бы про нее и не вспомнил…

Оказывается, можно шагать и с закрытыми глазами. Так даже лучше – ноги работают, а глаза отдыхают. Главное – крепко держаться за сани, не разжимать пальцы…

Снег больно ударяет в лицо, забивается в нос и в рот. Зулейха приподнимает голову, отряхивает. Сама – лежит на земле, впереди – удаляющийся задок саней, вокруг – белая круговерть метели. Встает, догоняет сани, уцепляется покрепче. Решает не закрывать глаза до самого дома.

Въезжают во двор уже затемно. Сгружают дрова у поленницы (Муртаза наколет завтра), распрягают Сандугач, укрывают сани.

Подернутые густым инеем стекла на стороне Упырихи темны, но Зулейха знает: свекровь чувствует их приезд. Стоит сейчас перед окном и прислушивается к движениям половых досок: ждет, как они сначала вздрогнут от удара входной двери, а после пружинисто задрожат под тяжелыми шагами хозяина. Муртаза разденется, умоется с дороги – и пройдет на половину матери. Он это называет *поговорить вечерком.* О чем можно разговаривать с глухой старухой? Зулейха не понимает. Но разговоры эти были долгими, иногда длились часами. Муртаза выходил от матери спокойный, умиротворенный, мог даже улыбнуться или пошутить.

Сегодня это вечернее свидание Зулейхе на руку. Как только муж, надев чистую рубаху, уходит к Упырихе, Зулейха набрасывает на плечи не просохший еще тулуп и выскакивает из избы.

Буран заметает Юлбаш крупным жестким снегом. Зулейха бредет по улице против ветра, наклонившись вперед низко, как в молитве. Маленькие окошки домов, светящиеся уютным желтым светом керосинок, еле проглядывают во тьме.

Вот и околица. Здесь, под забором последнего дома, носом к полю, хвостом к Юлбашу, живет *басу капка иясе* – дух околицы. Зулейха сама его не видела, но, говорят, сердитый очень, ворчливый. А как иначе? Работа у него такая: злых духов от деревни отгонять, через околицу не пускать, а если у деревенских просьба какая к лесным духам появится – помочь, стать посредником. Серьезная работа, не до веселья.

Зулейха распахивает тулуп, долго ковыряется в складках кульмэк, разматывая влажную тряпицу на поясе.

– Извини, что часто беспокою, – говорит она в метель. – Ты уж и в этот раз – помоги, не откажи.

Угодить духу – дело непростое. Знать надо, какой дух что любит. Живущая в сенях *бичура,* к примеру, неприхотлива. Выставишь ей пару немытых тарелок с остатками каши или супа – она слижет ночью, и довольна. Банная бичура покапризнее, ей орехи или семечки подавай. Дух хлева любит мучное, дух ворот – толченую яичную скорлупу. А вот дух околицы – сладкое. Так мама учила.

Когда Зулейха впервые пришла просить *басу капка иясе* об одолжении – поговорить с *зират иясе,* духом кладбища, чтобы присмотрел за могилами дочек, укрыл их снегом потеплее, отогнал злых озорных *шурале,* – принесла конфеты. Затем таскала орешки в меду, рассыпчатые кош-теле, сушеные ягоды. Пастилу принесла впервые. Понравится ли?

Она разлепляет слипшиеся листы и по одному бросает перед собой. Ветер подхватывает их и уносит куда-то в поле – покрутит-повертит, да и принесет к норе *басу капка иясе.*

Ни один лист не вернулся обратно к Зулейхе – дух околицы принял угощение. Значит, исполнит просьбу: потолкует по-свойски с духом кладбища, уговорит его. Будут дочки лежать в тепле, в спокойствии до самой весны. Говорить напрямую с духом кладбища Зулейха побаивалась – все-таки она простая женщина, не *ошкеруче.*

Она благодарит *басу капка иясе* – низко кланяется в темноту – и спешит домой, скорее, пока Муртаза от Упырихи не вышел. Когда вбегает в сени, муж еще у матери. Она благодарит Всевышнего – опахивает лицо ладонями: да, сегодня он действительно на стороне Зулейхи.

В тепле сразу накрывает усталость. Руки и ноги – чугунные, голова – ватная. Тело просит одного – покоя. Она быстро подтапливает остывшую с утра печь. Раскладывает на сяке табын для Муртазы, мечет на него еды. Бежит в зимний хлев, подтапливает печь и там. Задает животным, убирает за ними. Ведет жеребенка к Сандугач на вечернее кормление. Доит Кюбелек, процеживает молоко. Достает с высоких киштэ мужнины подушки, взбивает (Муртаза любит спать высоко). Наконец можно уйти к себе, в запечье.

Обычно на сундуках спят дети, а взрослым женщинам полагается небольшая часть сяке, отделенная от мужской половины плотной чыбылдык. Но пятнадцатилетняя Зулейха была такого маленького роста, когда пришла в дом Муртазы, что Упыриха в первый же день сказала, воткнув в невестку тогда еще яркие изжелта-карие глаза: “Эта маломерка и с сундука не свалится”. И Зулейху поселили на большом старом сундуке, обитом жестяными пластинами и блестящими выпуклыми гвоздями. С тех пор она больше не росла – переселяться куда-то не было необходимости. А сяке полностью занял Муртаза.

Зулейха раскладывает на сундуке матрас, одеяло, стягивает через голову кульмэк и начинает расплетать косы. Пальцы не слушаются, голова падает на грудь. Сквозь полусон слышит – хлопает дверь: возвращается Муртаза.

– Ты здесь, женщина? – спрашивает с мужской половины. – Затопи-ка баню. Мама хочет помыться.

Зулейха утыкает лицо в ладони. На баню нужно много времени. Да еще и Упыриху мыть… Где взять силы? Еще бы только пару мгновений вот так посидеть, не шевелясь. И силы придут… и она встанет… и затопит…

– Спать вздумала?! На телеге спишь, дома спишь. Права мама: лентяйка!

Зулейха вскакивает.

Муртаза стоит перед ее сундуком, в одной руке – керосинка с неровным огоньком внутри, широкий подбородок с глубокой ямкой посередине гневно напряжен. Дрожащая тень мужа закрывает полпечи.

– Бегу, бегу, Муртаза, – говорит хриплым голосом.

И бежит.

Сначала расчистить в снегу дорожку к бане (утром не чистила – не знала, что придется топить). Затем натаскать воды из колодца – двадцать ведер, Упыриха любит поплескаться. Растопить печь. Сыпануть орехов бичуре за скамью, чтобы не шалила, не гасила печь, не подпускала угара, не мешала париться. Вымыть полы. Замочить веники. Принести с чердака сушеных трав: череды – для омовения женских и мужских тайных мест, мяты – для вкусного пара; заварить. Расстелить чистый палас в предбаннике. Принести чистое белье – для Упырихи, для Муртазы, для себя. Не забыть подушки и кувшин с холодной питьевой водой.

Баню Муртаза поставил в углу двора, за амбаром и хлевом. Печь клал *по современному методу:* долго возился с чертежами в привезенном из Казани журнале, беззвучно шевелил губами, водя широким ногтем по желтым страницам; несколько дней укладывал кирпичи, то и дело сверяясь с рисунком. На казанском заводе прусского фабриканта Дизе заказал по размерам стальной бак – и поставил его точно на предназначенный крутой уступ, гладко примазал глиной. Такая печь и баню топила, и воду грела быстро, только успевай подтапливать, – загляденье, а не печь. Сам мулла-хазрэт приходил посмотреть, потом заказал для себя такую же.

Пока управлялась с делами, усталость спряталась куда-то глубоко, притаилась, скрутилась клубком – не то в затылке, не то в позвоночнике. Скоро вылезет – накроет плотной волной, собьет с ног, утопит. Но это когда еще будет. А пока: баня разогрелась – можно звать Упыриху мыться.

Муртаза входил к матери без стука, а Зулейхе полагалось долго и громко стучать ногами о пол перед дверью, чтобы старуха была готова к ее приходу. Если Упыриха бодрствовала, то чувствовала дрожание половых досок и встречала невестку суровым взглядом слепых глазниц. Если спала – Зулейха должна была немедленно выйти и зайти позже.

“Может, заснула?” – надеется Зулейха, старательно топоча у входа в избу свекрови. Толкает дверь, просовывает голову в щель.

Три большие керосиновые лампы в ажурных металлических подставках ярко освещают просторную комнату (Упыриха всегда зажигает их к вечернему приходу Муртазы). Отскобленные тонким ножом и натертые речным песком до медового сияния полы (Зулейха летом всю кожу на пальцах ободрала, начищая); снежно-белые кружева на окнах – накрахмаленные так жестко, что можно порезаться; в простенках – нарядные красно-зеленые тастымал и овальное зеркало, такое огромное, что если Зулейха вставала перед ним, то отражалась вся, от макушки до пяток. Большие напольные часы сверкают янтарным лаком, латунный маятник отстукивает время медленно и неумолимо. Чуть потрескивает желтый огонь в высокой, крытой изразцами печи (ее Муртаза топил сам, Зулейхе не разрешалось притрагиваться). Паутинно-тонкая шелковая кашага под потолком обрамляет комнату, как дорогая рама.

В почетном углу – туре – на могучей железной кровати с литой узорной спинкой, утопая в холмах взбитых подушек, восседает старуха. Ноги ее в молочного цвета мягких ката, расшитых цветной тесьмой, стоят на полу. Голова, повязанная длинным белым платком по-старушечьи, по самые клочковатые брови, стоит на обвисшей мешком шее прямо и твердо. Высокие и широкие скулы подпирают узкие щели глаз, треугольные от косо нависающих с боков дряблых век.

– Так и умереть можно, дожидаясь, пока ты баню растопишь, – спокойно произносит свекровь.

Рот ее впал и морщинист, как старая гусиная гузка, зубов почти нет, но говорит четко, внятно.

“Как же, умрешь ты, – думает Зулейха, просачиваясь в комнату. – Еще на моих похоронах обо мне гадости рассказывать будешь”.

– Но не надейся, я долго жить собираюсь, – продолжает та. Откладывает в сторону яшмовые четки, нащупывает рядом потемневшую от времени клюку. – Мы с Муртазой всех вас переживем, мы – крепкого корня и от хорошего дерева растем.

“Сейчас про мой гнилой корень скажет”, – обреченно вздыхает Зулейха, поднося старухе длинную собачью ягу, меховой колпак и валенки.[1]

– Не то что ты, жидкокровая. – Старуха вытягивает вперед костлявую ногу, Зулейха осторожно снимает с нее мягкий, словно пуховый, ката и надевает высокий жесткий валенок. – Ни ростом, ни лицом не вышла. Может, конечно, между ног у тебя в молодости медом намазано было, да ведь и это место не больно здоровым оказалось, а? Одних девок на свет принесла – и то ни одна не выжила.

Зулейха слишком сильно тянет за второй ката, и старуха вскрикивает от боли.

– Полегче, девчонка! Я правду говорю, сама знаешь. Кончается твой род, худокостая, вырождается. Оно и правильно: гнилому корню – гнить, а здоровому – жить.

Упыриха опирается о клюку, поднимается с кровати и сразу становится выше Зулейхи на целую голову. Задирает широкий, похожий на копыто подбородок, устремляет белые глаза в потолок:

– Всевышний послал мне нынче сон про это.

Зулейха накидывает ягу Упырихе на плечи, надевает меховой колпак, заматывает шею мягкой шалью.

Аллах всемогущий, опять сон! Свекровь редко видела сны, но те, что приходили к ней, оказывались вещими: странные, иногда жуткие, полные намеков и недосказанностей видения, в которых грядущее отражалось расплывчато и искаженно, как в мутном кривом зеркале. Даже у самой Упырихи не всегда получалось разгадать их смысл. Спустя пару недель или месяцев тайна обязательно раскрывалась – происходило что-то, чаще – плохое, реже – хорошее, но всегда – важное, с извращенной точностью повторявшее картину полузабытого к тому времени сна.

Старая ведьма никогда не ошибалась. В тысяча девятьсот пятнадцатом, сразу после свадьбы сына, ей привиделся Муртаза, бредущий меж красных цветов. Разгадать сон не сумели, но скоро в хозяйстве случился пожар, дотла сгорели амбар и старая баня – и отгадка была найдена. Через пару месяцев старуха видела ночью гору желтых черепов с крупными рогами и предсказала эпидемию ящура, который выкосил весь скот в Юлбаше. Следующие десять лет сны приходили сплошь печальные и страшные: детские рубашечки, одиноко плывущие по реке; расколотые надвое колыбельки; цыплята, утопающие в крови… За это время Зулейха родила и тут же похоронила четверых дочерей. Страшным было и видение про Большой голод в два-

[1] Род шубы, тулупа халатного покроя.

дцать первом: свекрови явился воздух, черный, как сажа, – люди плавали в нем, как в воде, и медленно растворялись, постепенно теряя руки, ноги, головы.

– Долго мы здесь еще потеть будем? – старуха нетерпеливо стучит клюкой и первая направляется к двери. – Хочешь распарить меня перед улицей и застудить?!

Зулейха торопливо прикручивает фитильки керосинок и спешит следом.

На крыльце Упыриха останавливается – на улицу одна не выходит. Зулейха подхватывает свекровь за локоть – та больно вонзает длинные узловатые пальцы ей в руку – и ведет в баню. Идут медленно, осторожно переставляя ноги по зыбучему снегу, – метель не утихла, и дорожка вновь наполовину заметена.

– Ты, что ли, снег во дворе чистила? – ухмыляется половиной рта Упыриха в предбаннике, позволяя снять с себя заснеженную ягу. – Оно и заметно.

Мотает головой, скидывает на пол колпак (Зулейха бросается подбирать), нащупывает дверь и сама входит в раздевальню.

Пахнет распаренными березовыми листьями, чередой и свежим влажным деревом. Упыриха садится на широкую длинную лавку у стены и застывает в молчании: разрешает себя раздеть. Сначала Зулейха снимает с нее белый платок в тяжелых бусинах крупного бисера. Потом просторный бархатный жилет с узорной застежкой на животе. Бусы – коралловую нить, жемчужную нить, стеклянную нить, потемневшее от времени увесистое монисто. Верхнюю плотную кульмэк. Нижнюю тонкую кульмэк. Валенки. Шаровары – одни, вторые. Пуховые носки. Шерстяные носки. Нитяные носки. Хочет вынуть из толстых складчатых мочек свекрови крупные серьги-полумесяцы, но та кричит: “Не касайся! Потеряешь еще… Или скажешь, что потеряла…” Перстни тусклого желтого металла на неровных морщинистых пальцах старухи Зулейха решает не трогать.

Одежда Упырихи, аккуратно разложенная в строго определенном порядке, занимает всю лавку – от стены и до стены. Свекровь внимательно ощупывает руками все предметы – недовольно поджимает губы, что-то поправляет, разглаживает. Зулейха быстро скидывает свои вещи на корзину с грязным бельем у входа и ведет старуху в парную.

Едва открывают дверь – их окатывает горячим воздухом, ароматом раскаленных камней и распаренного лыка. По лицу и спине начинает струиться влага.

– Поленилась нормально затопить, баня-то еле теплая… – цедит старуха, скребя бока. Забирается на самую высокую лэукэ, ложится на ней лицом в потолок, закрывает глаза – отмокать.

Зулейха присаживается у заготовленных тазов и начинает разминать отмокшие веники.

– Плохо мнешь, – продолжает ворчать Упыриха. – Хоть и не вижу, а знаю: плохо. Ты ими возишь по тазу туда-сюда, как ложкой суп помешиваешь, а надо – месить, как тесто… И за что только Муртаза тебя, нерадивую, выбрал? Одним медом между ног всю жизнь сыт не будешь…

Зулейха, встав на колени, принимается месить веники. Телу сразу становится горячо, лицо и грудь взмокают.

– То-то же, – несется скрипучий голос сверху. – Хотела меня неразмятыми вениками побить, бездельница. А я не дам себя в обиду. И Муртазу моего тоже – не дам. Аллах мне для того и даровал такую длинную жизнь, чтобы его от тебя защищать… Кроме меня – кто вступится за моего мальчика? Ты его не любишь, не чтишь – только делаешь вид. Притворщица, холодная и бездушная, – вот ты кто. Я тебя чувствую, ой как чувствую…

А о сне – ни слова. Вредная старуха будет томить весь вечер. Знает, что Зулейхе не терпится услышать. Мучает.

Зулейха берет два сочащихся зеленоватой водой веника и поднимается к Упырихе на лэукэ. Голова входит в плотный слой обжигающего воздуха под потолком, начинает гудеть. В глазах мелькают разноцветные песчинки, летят, плывут волнами.

Вот она, Упыриха, совсем близко: простирается от стены и до стены, как широкое поле. Бугристые старческие кости торчат вверх, столетнее тело рассыпалось меж них причудливыми холмами, кожа висит застывшими оползнями. И по всей этой неровной, то изрезанной оврагами, то пышно вздыбленной долине текут, извиваются блестящие ручьи пота…

Парить Упыриху полагается с двух рук и обязательно начиная с живота. Зулейха сначала осторожно ведет веником, подготавливая кожу, потом начинает бить двумя вениками попеременно. На теле старухи тотчас появляются красные пятна, черные березовые листья брызжут во все стороны.

– И парить не умеешь. Сколько лет тебя учу… – Упыриха повышает голос, чтобы перекричать долгие хлесткие шлепки. – Сильнее! Давай же, давай, мокрая курица! Разогрей мои старые кости!.. Злее работай, бездельница! Разгоняй свою жидкую кровь, может, загустеет!.. Как же ты мужа своего любишь по ночам, если такая слабая, а? Уйдет, уйдет Муртаза к другой, которая крепче и бить, и любить будет!.. Я и то крепче ударить могу. Парь лучше, а не то ведь ударю! Схвачу за волосы и покажу, как надо! Я – не Муртаза, спуску не дам!.. Где же твоя сила, курица? Ты же еще не умерла пока! Или умерла?! – старуха уже кричит во все горло, приподнимая к потолку искаженное гневом лицо.

Зулейха размахивается что есть силы и рубит обоими вениками, как топором, по мерцающему в дрожащем паре телу. Прутья визжат, рассекая воздух, – старуха крупно вздрагивает, через живот и грудь пробегают широкие алые полосы, на которых темными зернышками взбухает кровь.

– Наконец-то, – хрипло выдыхает Упыриха, откидывая голову обратно на лавку.

В глазах темнеет, и Зулейха сползает по ступеням лэукэ вниз, на скользкий прохладный пол. Дыхание сбито, руки дрожат.

– Поддай-ка еще пару – и принимайся за мою спину, – командует Упыриха спокойно и деловито.

Слава Аллаху, мыться старуха любит внизу. Садится в огромный, до краев наполненный водой деревянный таз, аккуратно опускает в него длинные и плоские мешки грудей, висящие до пупа, и начинает милостиво протягивать Зулейхе по одной руки и ноги. Та трет их распаренным лыковым мочалом и смывает длинные катышки грязи на пол.

Настает черед головы. Две тонкие седые косицы, тянущиеся до бедер, нужно распустить, намылить и прополоскать, не задевая большие висячие серьги-полумесяцы и не заливая водой незрячие глаза.

Ополоснувшись в нескольких ведрах холодной воды, Упыриха готова. Зулейха выводит ее в раздевальню и начинает обтирать полотенцами, гадая, откроет ли ей старуха свой таинственный сон. В том, что сыну она все уже рассказала сегодня, Зулейха не сомневается.

Вдруг Упыриха больно тычет ее в бок вытянутым вперед корявым пальцем. Зулейха ойкает и отклоняется. Старуха тычет повторно. Третий раз, четвертый… Что это с ней? Не перепарилась ли? Зулейха отскакивает к стене.

Через пару мгновений свекровь успокаивается. Привычным жестом требовательно вытягивает руку, нетерпеливо ведет пальцами, – Зулейха вкладывает в них приготовленный заранее кувшин с питьевой водой. Старуха отхлебывает жадно, капли бегут по глубоким складкам от уголков рта к подбородку. Потом размахивается и с силой швыряет сосуд в стенку. Глина звонко дзынькает, разлетаясь на куски, по бревнам ползет темное водяное пятно.

Зулейха шевелит губами в краткой беззвучной молитве. Да что это сегодня с Упырихой, Аллах всемогущий?! Вот ведь разыгралась. Неужели умом тронулась от возраста? Зулейха пережидает немного. Потом осторожно приближается и продолжает одевать свекровь.

– Молчи-и-ишь, – осуждающе произносит старуха, позволяя надеть на себя чистую исподнюю рубаху и шаровары. – Всегда молчишь, немота… Если бы кто со мной так – я бы убила.

Зулейха останавливается.

– А ты не сможешь. Ни ударить, ни убить, ни полюбить. Злость твоя спит глубоко и не проснется уже, а без злости – какая жизнь? Нет, не жить тебе никогда по-настоящему. Одно слово: курица…

…И жизнь твоя – куриная, – продолжает Упыриха, с блаженным вздохом откидываясь к стене. – Вот у меня была – настоящая. Я уже и ослепла, и оглохла – а все еще живу и мне нравится. А ты не живешь. Поэтому не жалко тебя.

Зулейха стоит и слушает, прижав к груди валенки старухи.

– Умрешь ты скоро, во сне видела. Мы с Муртазой в доме останемся, а за тобой прилетят три огненных фэрэштэ и унесут прямиком в ад. Все как есть видела: и как хватают они тебя под руки, и как швыряют на колесницу, и как везут в пропасть. Я стою на крыльце, смотрю. А ты и тогда молчишь – только мычишь, словно Кюбелек, и глазищи свои зеленые выкатила, пялишься на меня, как безумная. Фэрэштэ хохочут, держат тебя крепко. Щелк кнутом – и разверзается земля, из щели – дым с искрами. Щелк – и полетели вы все туда, и пропали в этом дыме…

Ноги слабеют, и Зулейха выпускает из рук валенки, прислоняется к стене, медленно стекает по ней на тонкий палас, едва прикрывающий холод пола.

– Может, еще не скоро сбудется, – Упыриха широко и сладко зевает. – Сама знаешь: какие сны быстро исполняются, а какие – через месяцы, я уже и забывать их начинаю…

Зулейха кое-как одевает старуху – руки не слушаются. Упыриха это замечает, недобро ухмыляется. Потом садится на лавку, опирается решительно на клюку:

– Я с тобой сегодня из бани не пойду. Может, у тебя от услышанного разум помутился. Кто знает, что тебе в голову придет. А мне еще долго жить. Так что зови Муртазу, пусть он меня домой ведет и спать укладывает.

Зулейха, запахнув покрепче тулуп на распаренном голом теле, бредет в дом, приводит мужа. Тот вбегает в раздевальню без шапки, не стряхнув с валенок налипший снег.

– Что случилось, эни? – Подбегает к матери, обхватывает ее руки.

– Не могу… – вдруг ослабевшим голосом шелестит Упыриха, роняя голову на грудь сыну. – Не могу больше…

– Что?! Что?! – Муртаза падает на колени и принимается ощупывать ее голову, шею, плечи.

Трясущейся рукой старуха кое-как развязывает тесемки кульмэк на груди и тянет за ворот. В открывшемся проеме, на светлом треугольнике кожи темнеет багровое пятно с крупными черными зернами спекшейся крови. Кровоподтек тянется за проем рубахи, вниз, к животу.

– За что? – Упыриха изгибает рот крутым коромыслом, из глаз ее выкатываются две крупные блестящие слезы и теряются где-то в мелко дрожащих морщинах на щеках; она припадает к сыну и беззвучно трясется. – Я ведь ничего ей не сделала…

Муртазу подбрасывает на ноги.

– Ты?! – рычит он глухо, буравя глазами Зулейху и ощупывая рукой стену около себя.

Под руку попадаются пучки засушенных трав, связки мочалок – срывает, отшвыривает. Наконец в ладонь ложится тяжелая ручка метлы – он ухватывает покрепче и замахивается.

– Не била я ее! – сдавленно шепчет Зулейха, отскакивая к окну. – Никогда, ни разу пальцем не тронула! Она сама попросила…

– Муртаза, сынок, не бей ее, пожалей, – раздается из угла дрожащий голос Упырихи. – Она меня не жалела, а ты ее – пожа…

Муртаза швыряет метлу. Черенок больно ударяет Зулейху в плечо, тулуп сваливается на пол. Валенки сбрасывает сама и юркает в парную. Дверь за ней с грохотом затворяется, гремит засов – муж запирает ее снаружи.

Припав горячим лицом к маленькому запотевшему окошку, Зулейха сквозь танцующую пелену снега глядит, как муж и свекровь двумя высокими тенями плывут в дом. Как зажигаются и гаснут окна на стороне Упырихи. Как Муртаза тяжело шагает обратно в баню.

Зулейха хватает большой черпак и окунает в стоящий на печи таз с водой, от которого поднимаются вверх пышные клубы пара.

Опять гремит засов: Муртаза стоит в проеме двери в одном исподнем, в руке – все та же метла. Делает шаг вперед и закрывает за собой дверь.

Швыряй в него кипятком! Прямо сейчас, не жди!

Зулейха, часто дыша и держа перед собой черпак на вытянутых руках, шагает назад и упирается спиной в стену, ощущая лопатками крутую выпуклость бревен.

Муртаза делает еще один шаг и черенком выбивает черпак из рук Зулейхи. Подходит, рывком кидает ее на нижнюю лэукэ – Зулейха больно ударяется коленями и простирается на полке.

– Лежи смирно, женщина, – говорит он.

И начинает бить.

Метлой по спине – это не больно. Почти как веником. Зулейха лежит смирно, как и велел муж, только вздрагивает и царапает ногтями лэукэ при каждом ударе, – поэтому бьет он недолго. Быстро остывает. Все-таки хороший муж ей достался.

Потом она его парит и моет. Когда Муртаза выходит в раздевальню охолонуть, перестирывает белье. Самой вымыться уже нет сил – усталость проснулась, налила тяжестью веки, замутила голову, – кое-как ведет мочалом по бокам и ополаскивает волосы. Остается только вымыть полы в бане – и спать, спать…

Мыть полы была с детства приучена на коленях. “Согнувшись в поясе или присев на корточки только лентяи работают”, – учила мать. Зулейха не считает себя лентяйкой – и сейчас трет склизкие темные половицы, скользя по ним ящерицей: припав животом и грудями к самому полу, низко наклонив чугунную голову и высоко подняв зад. Ее качает.

Скоро парная отмыта, и Зулейха перебирается в раздевальню: развешивает влажные паласы на тянущихся под потолком киштэ – пусть просохнут, собирает черепки разбитого недавно кувшина, принимается драить полы.

Муртаза все еще лежит на лавке – неодетый, завернутый в белую простыню, отдыхает. Взгляд мужа всегда заставляет Зулейху работать лучше, старательнее, быстрее, – пусть видит, что она неплохая жена, хоть ростом и не вышла. Вот и сейчас, собрав остатки сил и распластавшись по полу, она исступленно возит тряпкой по чистым уже доскам – туда-сюда, туда-сюда; мокрые выбившиеся пряди болтаются в такт, неприкрытые груди елозят по половицам.

– Зулейха, – низко произносит Муртаза, глядя на голую жену.

Она разгибается в поясе, стоя на коленях и не выпуская из рук тряпку, но сонных глаз поднять не успевает. Муж обхватывает ее сзади и бросает животом на лавку, наваливается всем телом сверху, дышит тяжело, хрипит, начинает вдавливать, втирать в жесткие доски. Он хочет любить свою жену. Но тело его не хочет – разучилось слушаться его желаний… Наконец Муртаза встает с нее и начинает одеваться. “Даже плоть моя тебя не хочет”, – бросает не глядя и выходит из бани.

Зулейха медленно поднимается с лавки, в руке – все та же тряпка. Домывает пол. Развешивает мокрое белье и полотенца. Одевается и бредет домой. Расстраиваться из-за случившегося с Муртазой нет сил. Страшное пророчество Упырихи – вот о чем она будет думать, но завтра, завтра… когда проснется…

В доме уже погас свет. Муртаза еще не спит – дышит на своей половине громко и бодро, доски сяке поскрипывают под ним.

Зулейха на ощупь пробирается в свой угол, ведя рукой по теплому шершавому боку печи, падает на сундук не раздеваясь.

– Зулейха-а-а, – громко зовет Муртаза; голос – довольный, ласковый.

Она хочет встать – и не может. Тело киселем растекается по сундуку.

– Зулейха!

Она сползает на пол, встает на колени перед сундуком, но оторвать от него голову не получается.

– Зулейха, мокрая курица, скорее!

Она медленно поднимается и, шатаясь, бредет на зов мужа. Заползает на сяке.

Муртаза нетерпеливыми руками спускает с нее шаровары (досадливо крякает – вот ведь лентяйка, еще не разделась!), укладывает на спину, задирает кульмэк. Его рваное дыхание приближается. Зулейха ощущает, как лицо накрывает длинная, еще пахнущая баней и морозом борода мужа, а недавние побои на спине ноют под его тяжестью. Тело Муртазы наконец откликнулось его желаниям, и он торопится исполнить их – жадно, сильно, долго, торжествующе…

Во время исполнения супружеского долга Зулейха обычно мысленно сравнивает себя с маслобойкой, в которой хозяйка сильными руками взбивает масло толстым и жестким пестом. Но сегодня эта привычная мысль не пробивается через тяжелое одеяло усталости. Сквозь пелену сна она еле различает сдавленные всхрипы мужа. Непрекращающиеся толчки его тела усыпляют, как мерно покачивающаяся телега…

Муртаза слезает с жены, отирая ладонью мокрый затылок и успокаивая сбившееся дыхание; дышит устало и довольно.

– Иди к себе, женщина, – толкает ее неподвижное тело.

Он не любит, когда она спит рядом с ним на сяке.

Зулейха, не открывая глаз, шлепает на свой сундук, но не замечает этого – она уже крепко спит.

Стук в окно

Я умру?

За окном гудит темно-голубая пурга. Зулейха стоит на коленях и волосяной щеткой чистит кафтан Муртазы. Кафтан – главное украшение дома: стеганный войлоком, крытый бархатом, пахнущий крепким мужским духом, огромный, как его хозяин. Висит на толстом медном гвозде, лоснится пышными рукавами, милостиво позволяет щуплой Зулейхе ползать в ногах и счищать капли грязи с подола.

Я умру скоро?

Грязь в Казани жирная, добрая. Зулейха там не бывала – ни разу не выезжала из Юлбаша, только если в лес или на кладбище. А хотелось бы. Муртаза обещал как-нибудь взять с собой. Напоминать боялась, только смотрела на него каждый раз во время сборов долгим взглядом исподлобья. Он подтягивал упряжь на Сандугач, подбивал каблуком разболтанные колеса – делал вид, что не замечает.

Если умру – так и не увижу Казань?

Зулейха скашивает глаза на Муртазу. Тот сидит на сяке и починяет хомут. Пальцы с бурыми ногтями – жесткие и крепкие, как стволы молодых дубов, – ловко продевают скользкий кожаный ремень в деревянную основу. Только вернулся из города – и сразу за работу. Хороший муж, что говорить.

Если умру – он скоро женится на другой?

Муртаза довольно крякает: готово! Надевает хомут на могучую шею, проверяя крепость починки, – под крутым деревянным изгибом вздуваются толстые жилы. Да, такой женится, и очень скоро.

А вдруг Упыриха ошиблась?

Щетка Зулейхи шуршит. Шорх-шорх. Шорх-шорх. Шамсия – Фируза. Халида – Сабида. Первая и вторая дочь. Третья и четвертая. Она часто перебирает эти имена, как четки. Четыре смерти были предсказаны Упырихой. Зулейха одновременно узнавала от свекрови о своей беременности и о предстоящей смерти новорожденного. Четырежды вынашивала в чреве плод, а в сердце – надежду, что в этот раз Упыриха ошиблась. Но старуха каждый раз оказывалась права. Неужели права и сейчас?

Работай, Зулейха, работай. Как там мама говорила? Работа отгоняет печаль. Ох, мама, моя печаль не слушается твоих поговорок…

В окно стучат условленным образом: три быстрых стука, два медленных. Она вздрагивает. Показалось? И снова: три быстрых стука, два медленных. Нет, не показалось, ошибки быть не может: стук тот самый. Щетка валится из рук, катится по полу. Зулейха поднимает глаза – встречается с тяжелым взглядом мужа. Алла сакласын, Муртаза, неужели *опять?!*

Он медленно снимает с шеи хомут, набрасывает на плечи тулуп, сует ноги в валенки. За ним хлопает дверь.

Зулейха бросается к окну, пальцами плавит лохматые узоры инея на стекле, припадает к дырочке глазом. Вот Муртаза приоткрывает ворота, борясь с начинающейся вьюгой. Из вихря белых хлопьев высовывает морду темный конь, запорошенный снегом всадник наклоняется из седла к Муртазе, шепчет что-то на ухо – и через мгновение вновь растворяется в метели, словно его и не было. А Муртаза идет обратно.

Зулейха бросается на пол, нащупывает укатившуюся щетку, утыкается носом в подол кафтана – не следует женщине выказывать излишнее любопытство, даже в такой миг. Протяжно воет дверь, впуская свежий морозный дух. Грузные шаги мужа медленно проплывают за спиной. Нехорошие шаги – медленные, усталые, словно обреченные.

Она припала грудью к холодному полу, лицом – к мягкому кафтану. Дышит мелко, беззвучно. Слышно, как громко трещит в печи огонь. Выждав немного, она слегка поворачивает голову: Муртаза сидит на сяке в тулупе и заснеженном малахае, кусты бровей сошлись на переносице, в них медленно гаснут искры крупных белых снежинок. Морщина глубоким рвом пролегла поперек лба, взгляд – остановившийся, неживой. И Зулейха понимает: да, *опять*.

И Алла, что же будет на этот раз? Она жмурится, опускает мгновенно вспотевший лоб к холодной половице. Чувствует влагу на полу – вода? Снег с валенок Муртазы тает и растекается по полу извилистыми ручьями.

Зулейха хватает тряпку и ползет на коленях, собирая воду. Утыкается теменем в твердые, словно железные, ноги мужа. Обхлопывает тряпкой талую воду вокруг, не смея поднять голову. На правую руку наступает большой колючий валенок. Зулейха хочет вырвать ладонь, но валенок камнем придавил пальцы. Она поднимает взгляд. Желтые глаза Муртазы – совсем рядом. В огромных, как вишни, зрачках пляшут отсветы огня.

– Не отдам, – шепчет тихо. – В этот раз – ничего не отдам.

Кислое дыхание обжигает лицо. Зулейха отодвигается. И чувствует, как другой валенок ложится на левую руку. Лишь бы пальцы не отдавил – как же работать без пальцев…

– Что будет-то, Муртаза? – лепечет она жалобно. – Сказали? Нынче – хлеб сдавать? Или скот?

– Твое какое дело, женщина? – шипит в ответ.

Берет ее косы и наматывает на кулаки. Глаза Зулейхи – у его горячего рта. В густых коричневых щелях между зубами блестят комочки слюны.

– Может, новой власти баб не хватает? Зерно уже взяли, скот тоже. Землю захотят – отберут. А вот с бабами – беда. – Слюна Муртазы брызжет Зулейхе на лицо. – Комиссарам красным топтать некого.

Он зажимает ее голову коленями. Ох и сильные у мужа ноги, даром что весь седой.

– Велено собрать всех баб и сдать председателю в сельсовет. Кто ослушается – в *калхус* запишут. Навечно.

Зулейха понимает наконец, что муж шутит. Только не знает, нужно ли улыбнуться в ответ. По его резкому тяжелому дыханию понимает – не нужно.

Муртаза отпускает голову Зулейхи. Убирает валенки с ее пальцев. Встает и потуже запахивает тулуп.

– Продукты спрячь, как всегда. – бросает коротко. – В схрон утром поедем.

Берет с сяке хомут и выходит вон.

Она сдергивает с гвоздя связку ключей, хватает керосиновую лампу, бежит во двор.

Тревоги не было уже давно, и многие стали хранить продукты по старинке, в подполах и амбарах, не пряча. Выходит – зря.

Амбар был заперт, на большом пузатом замке налип скользкий шар снега. Зулейха нащупывает ключом скважину, проворачивает один раз, второй – замок нехотя подается, раскрывает рот.

Скудный керосиновый свет освещает желтые, чисто оструганные бревенчатые стены и высокий потолок (там черным квадратом зияет лаз на сеновал), но не долетает до темнеющих вдали углов – амбар просторный, добротный, сделанный на века, как и всё в хозяйстве Муртазы. Стены увешаны инструментами: хищными серпами и лезвиями кос, зубастыми пилами и граблями, тяжелыми рубанками, топорами и долотами, тупорылыми деревянными молотками, острыми вилами и гвоздодерами. Здесь же – конская упряжь: старые и новые хомуты, кожаные

уздечки, заржавевшие и поблескивающие свежим маслом стремена, подковы. Несколько деревянных колес, долбленое корыто и сверкающий на изгибах, новенький медный лэгэн (спасибо Муртазе – привез из города пару лет назад). С потолка свисает растрескавшаяся детская колыбель. Пахнет затвердевшим на морозе зерном и холодным пряным мясом.

Зулейха помнит времена, когда плотные щекастые мешки с хлебом высились здесь до потолка. Муртаза ходил меж них – довольный, благостно улыбающийся – и без устали пересчитывал, кладя ладонь на каждый мешок трепетно, как на пышное женское тело. Не то теперь…

Она ставит керосинку на пол. Мешков – меньше, чем пальцев на руках. И каждый – худой, с дряблыми обвисшими боками. Рассыпать зерно из одного мешка по нескольким научились еще в девятнадцатом, как только подступила к Юлбашу тогда еще неведомая, но с каждым годом становившаяся все страшнее, как *албасты,* прожорливее, как *дэв,* ненасытнее, как *жалмавыз,* – продразверстка. Туго набитый мешок спрятать трудно, а найдут – все зерно разом пропало. То ли дело несколько тощих – и схоронить легче (по одному, в разных местах), и расставаться не так жалко. А еще – Зулейха могла таскать худые мешки без помощи Муртазы: хоть по одному, да управится, спрячет сама, пока он по соседям ходит и выясняет, что к чему.

Если бы не буран – многие деревенские потянулись бы сегодня вечером в лес. Там, под спасительным покровом еловых лап и трескучего валежника, у каждого рачительного хозяина был свой тайник. И у Муртазы тоже был. Но в метель – куда поедешь? Одна надежда – на милость небес. Даст Аллах, до утра никто не придет.

Зулейха начинает прятать зерно и продукты.

Пару мешков схоронила тут же, в амбаре (подкоп в земляном полу у стены верно служит им десять последних лет). На сеновал нести побоялась – там многие прячут. Меченные белой краской драгоценные мешки с посевным зерном положила в тайное дно стального бака для воды в бане.

Теперь – очередь конины. Длинные, похожие на морщинистые пальцы конские кишки, плотно набитые темно-красным пряным мясом, гроздьями свисают с потолка. Ох и пахнут! Зулейха втягивает ноздрями терпкий соленый аромат казылык. Колбасу лучше прятать в таком месте, где запаха не будет слышно. Летом можно было бы забраться на крышу и ровными рядами уложить на кирпичные приступки внутри дымовой трубы – ничего бы мясу не сделалось, только вкуснее пахло бы дымом. Но сейчас без Муртазы не залезть, крыша обледенела. Придется положить в доме, под половицей, надежно заперев в толстые железные ящики – от крыс.

Дальше – орехи. Твердые перекатистые шарики лещины стучат внутри скорлупок, как тысяча маленьких деревянных погремушек, пока она перетаскивает длинные узкие мешки из амбара в зимний хлев, укладывает на дно яслей и присыпает сеном. Корова и лошадь равнодушно смотрят на суету возле их кормушек. Жеребенок выглядывает из-под брюха Сандугач, косит любопытным глазом на хозяйку.

Соль, горох и морковную муку из подпола Зулейха укладывает на широкую полку под крышей нужника, прикрывает сверху досками.

Мед в больших деревянных рамах, обернутый в тонкие засахарившиеся тряпицы, – поднимает на чердак. Там же, под потолочными досками, прячет и соленого гуся, и ворохи задубевшей на морозе пастилы.

Остается спрятать последнее: пять десятков крупных, нежно белеющих из глубины берестяного туеса яиц, проложенных мягкой соломой.

Может, все-таки не придут?

Лихие гости, чувствующие себя на любом дворе как у себя дома; без спросу забирающие у хозяев последние съестные припасы и – самое ценное – тщательно отобранное и бережно хранимое посевное зерно для будущей весны; без секунды промедления готовые ударить, уколоть штыком, выстрелить в того, кто встанет на пути.

За четырнадцать тревожных лет Зулейха, скрываясь на женской половине от этих непрошеных гостей, наблюдала сквозь складки чаршау множество лиц: небритых и холеных, дочерна загорелых и аристократически бледных, с железнозубыми улыбками и строгими чопорными минами, бойко говорящих на татарском, русском, украинском, а также угрюмо молчащих о тех страшных истинах, что были начертаны ровными квадратными буквами на их тонких, затершихся на сгибах листах бумаги, которыми они то и дело норовили ткнуть Муртазе в нос.

У этих лиц было много имен, одно другого непонятнее и страшнее: хлебная монополия, продразверстка, реквизиция, продналог, большевики, продотряды, Красная армия, советская власть, губЧК, комсомольцы, ГПУ, коммунисты, уполномоченные…

Зулейхе сложно давались длинные русские слова, значения которых она не понимала, поэтому называла всех этих людей про себя – красноордынцами. Отец много рассказывал ей про Золотую Орду, чьи жестокие узкоглазые эмиссары несколько столетий собирали дань в этих краях и отвозили своему беспощадному предводителю – Чингисхану, его детям, внукам и правнукам. Красноордынцы тоже собирали дань. А кому отвозили – Зулейха не знала.

Сначала они забирали только хлеб. Потом – картофель и мясо. А во времена Большого голода, в двадцать первом, начали сметать все съестное подчистую. И птицу. И скот. И все, что найдут в доме. Тогда-то Зулейха и научилась рассыпать зерно из одного мешка по нескольким.

Они не появлялись уже давно, Юлбаш успокоился. Во времена со смешным названием НЭП крестьянам дали спокойно обрабатывать землю, разрешили нанимать батраков. Казалось, давшая страшный крен жизнь опять выравнивается. В прошлом году советская власть неожиданно приняла знакомый всем деревенским и оттого нестрашный образ: председателем сельсовета стал бывший батрак Мансур Шигабутдинов, пришлый, давно перетащивший за собой из соседнего кантона пожилую мать и живший с ней холостяком – злые языки шутили, что за всю жизнь он так и не сподобился накопить калым на хорошую невесту; за глаза его называли Мансуркой-Репьем. Мансурка сагитировал несколько человек в свою[2] *ячейку* и встречался с ними по вечерам, что-то обсуждал. Устраивал собрания и горячо зазывал деревенских в товарищество со странным пугающим названием *калхус,* но его мало кто слушал – на собрания ходили такие же бедняки, как он сам.

И вот – опять: условный стук в ночи, как нервное биение нездорового сердца. Зулейха выглядывает в окно: в соседних домах горит свет – Юлбаш не спит, готовится к приходу незваных гостей…

Куда же спрятать эти яйца?! На морозе треснут – ни на чердак, ни в сени, ни в баню не отнесешь. Надо укрывать в тепле. На мужской половине нельзя – красноордынцы перевернут там все вверх дном, такое уже было не раз. На женской? Эти ироды не постесняются, обыщут все и там. Может, у Упырихи? Непрошеным гостям часто становилось не по себе от строгого невидящего взгляда старухи, и обыски в избе свекрови обычно бывали короткими, скомканными.

Зулейха осторожно подхватывает увесистый туес и выскакивает в сени. Нет времени долго топтаться у входа, спрашивая разрешения войти, – она отворяет дверь, заглядывает: Упыриха спит, утробно храпя и вперив раздвоенный подбородок в потолок, где причудливыми цветами распустились три светлых кружевных пятна – керосинки горят на случай, если Муртаза захочет сегодня вечером заглянуть к матери. Зулейха шагает через толстое бревно порога и юркает в запечье.

До чего же хороша здесь гостевая печь! Огромная, как дом, крытая гладкими, будто стеклянными, изразцами (даже с женской стороны!), с двумя глубокими котлами, которыми никогда не пользуются, – один для приготовления пищи, второй для кипячения воды – Зулейхе бы

[2] До середины 1930 года единицей административно-территориального деления Татарской АССР был кантон.

такие! Всю жизнь мучается с одним. Она ставит туес на приступку, снимает крышку с котла. Сейчас уложит яйца, присыплет соломой – и шасть обратно, к себе, никто и не заметит…

Когда Зулейха укладывает последнее яйцо, дверь со скрипом отворяется. Кто-то тяжелый переступает порог, натужно стонут половицы. Муртаза! Руку сводит от неожиданности – скорлупа еле слышно хрустит, и холодная скользкая жидкость медленно сочится сквозь пальцы. Сердце превращается в такой же вязкий кисель, как треснувшее в руке яйцо, стекает по ребрам куда-то вниз, к похолодевшему животу.

Выйти сейчас? Признаться, что без спросу проникла на половину свекрови? Повиниться за разбитое яйцо?

– Эни, – раздается низкий голос Муртазы. – Мама.

Храп старухи тотчас захлебывается и прерывается. Сетка кровати протяжно ноет – Упыриха поднимает свое большое тело, будто услышав зов сына.

– Жаным, – говорит она тихо, хриплым спросонья голосом. – Душа моя. Ты?

Звук грузно осевшего старухиного тела и глубокий вздох Муртазы повисают в долгой тишине.

Зулейха не дыша, осторожно вытирает скользкую от яйца ладонь о ребро котла. Обняв печь и обмирая при каждом движении, делает несколько бесшумных шагов в сторону, прислоняется щекой к теплым изразцам, указательным пальцем отодвигает складки чаршау. Теперь сквозь щелку в занавеске она отчетливо видит их – мать и сына: Упыриха сидит на кровати – очень прямо, как всегда, опустив ноги на пол, Муртаза стоит на коленях, уткнув бритую голову с проблесками седой щетины в живот матери и крепко обхватив ее большое тело. Зулейха никогда не видела Муртазу коленопреклоненным. Если выйти сейчас – не простит.

– Улым, – нарушает тишину Упыриха, – сынок. Чую, что-то случилось.

– Да, эни, случилось. – Муртаза говорит, не отрывая лица от материнского живота, и оттого голос его звучит тихо, как сквозь подушку. – И давно. Если бы ты только знала, что у нас творится…

– Расскажи старой матери все, Муртаза, мальчик мой. Пусть я не слышу и не вижу. Я все чувствую – и смогу тебя утешить. – Упыриха гладит сына по спине широко и спокойно, как ласкают, успокаивая, разгоряченных жеребцов после скачек.

– Как жить, мама? Как жить?! – Муртаза трется лбом о колени матери, глубже зарываясь в нее. – Грабят, грабят, грабят. Забирают все. Когда уже не остается у тебя ничего – хоть к праотцам отправляйся! – дают отдышаться. А придешь в себя, приподнимешь голову – опять грабят. Нет у меня больше мочи, а у сердца моего – терпения!

– Жизнь – сложная дорога, улым. Сложная и длинная. Иногда хочется сесть на обочине и вытянуть ноги – пусть все катится мимо, хоть в саму преисподнюю, – садись, вытягивай, можно! Ты для этого ко мне и пришел. Посиди со мной, отдохни, переведи дух. – Старуха говорит медленно, протяжно, словно поет или читает молитву под биение маятника в напольных часах. – Потом встанешь и пойдешь дальше. А сейчас – я чувствую, как ты устал, сердце мое, как сильно ты устал.

– Сегодня шепнули – опять что-то готовится. Хоть не просыпайся утром. Народ думает: или землю начнут отбирать, или скот, а то и все разом. Зерно посевное спрятали, а толку-то – если землю отберут? Где мне его сажать – на картофельном огороде?! Умру, зубами вцеплюсь – не отдам! Пусть в кулаки запишут – не отдам! Мое! – он ударяет кулаком по ребру кровати – та жалобно поет в ответ тонким металлическим голосом.

– Ты что-то придумаешь, знаю. Посидишь сейчас, поговоришь со мной – и придумаешь. Ты сильный, Муртаза, мальчик мой. Сильный и умный, как я была. – Голос старухи теплеет, молодеет. – У-у-у-у, какая я была… Твой отец, как увидел меня, слюни пустил аж до пояса и вытереть забыл, – так хотелось меня оседлать. Вы, мужики, как бараны – чуть кого посильнее себя видите, сразу хотите забодать, затоптать, победить. Вот дураки!

Она улыбается, сетка морщин на лице дрожит, играет в нежно-желтом керосиновом свете. Муртаза дышит ровнее, тише.

– Говорила я ему: не по себе яблоко рвешь, худоногий, зубы обломаешь! А он мне: у меня зубов много. Я ему: жизнь длинная, может и не хватить – остерегись! Куда там – лишь раззадорила кобеля… – Упыриха глухо смеется, словно кашляет. – Тем летом, когда играли в кыз-куу, Шакирзян только за мной и гонялся, как пес за течной сукой. Фартук для кыз-куу у меня был самый красивый в Юлбаше – черного бархата, с бисерными цветами (всю зиму расшивала!). А по груди… – старуха прижимает к впалой груди шишковатую длиннопалую руку, – …монисто в два ряда. Отец мне своего аргамака-трехлетку давал: вскочу в седло, монисто зазвенит – нежно, призывно – только меня парни и видели. Ой-йя-а-а-а… Шакирзян уж скачет-скачет, кобылу взмылит, сам красный от злости – а догнать не может.

Я как увижу вдали ореховую рощу – придержу немного аргамака, словно поддаюсь. Отец твой и рад – гонится как бешеный, думает: вот-вот настигнет. А я у самой рощи – хоп: каблуки сведу, аргамак стрелой – вперед, Шакирзяну – одна пыль в лицо достается. Прочихается – а я уже у рощи развернулась, камчу из сапога достала: теперь моя очередь! А камча-то – крепкая, плетеная, я на конце еще нарочно узел завязывала, чтобы больнее стегала. Ну, догоню его, как водится, отхлестаю вволю: не сумел девушку настичь – расплачивайся, получай! Насмеюсь, накричусь… Ведь так ни разу и не догнал – ни одного-единственного раза!

Упыриха вытирает тыльной стороной ладони слезинки в уголках глаз.

– Ох и досталось ему от меня тем летом! Всю оставшуюся жизнь припоминал: бил меня крепко, много, и камчой тоже. Завяжет на ней узел с кулак, огреет, как дубиной, – а я ему в лицо смеюсь: что, говорю, за мной повторяешь? Свое придумать – ума не хватает? Он – пуще злится, сильнее хлещет, аж задыхается, за сердце хватается… Так и не сумел меня сломать. Ну и где он теперь? Полвека червей кормит. А я две его жизни прожила и третью начала. Сила – она свыше дается.

Упыриха прикрывает белые глазницы.

– Ты – в меня, сынок, сердце мое. У тебя в жилах – моя кровь. Под мясом – мои кости. – Она гладит седые щетинки на бритой голове сына. – И сила в тебе – моя: злая, непобедимая.

– Мама, мама… – Муртаза сжимает тело матери сильно и хватко, как борец кереш обнимает противника, а любовник – тело желанной женщины.

– Только первый раз посмотрела на тебя – тельце красное, пальцы морщинистые, глаза еще слепые, – сразу поняла, что мой. Ничей больше – только мой. Десятерых родила для мужа, а последнего – для себя. Не зря пуповина была с руку толщиной. Бабка твоя еле ножом распилила. Не хочет, говорит, сынок от тебя отрываться. А ты и вправду не хотел – присосался к груди, вцепился в нее как клещ. Так и не отрывался – три года пил меня, как телок, от груди одни мешки остались. И спал со мною: сам уже огромный, тяжелый, на сяке раскинешься звездой, а ладошку – мне на грудь, чтобы никуда от тебя не делась. Шакирзяна даже близко ко мне не подпускал – орал как резаный. Тот ругался страшно, ревновал. А чем бы он тебя кормил во время голода, если бы у меня тогда в груди молока не было?!

– Эни, эни… – повторяет Муртаза глухо.

– Страшное было время. Тебе уже три, есть хочешь, как взрослый. Высосешь грудь до остатка – сколько там было, молока этого жидкого? тебе на один зуб! – и мнешь ее остервенело, рвешь зубами: еще хочу, еще. А там уже – пусто. Хлеба, просишь, дай. Какой там хлеб! К концу лета всю солому с крыши съели, всю саранчу в округе переловили, лебеда была – лакомство. Да и где же ее было взять, лебеду? Люди с ума сходили, шатались, как шурале, по лесу, кору зубами с деревьев рвали. Шакирзян еще весной в город подался на заработки, а я с вами четырьмя – одна. Тебе-то хоть грудь доставалась, а старшим – ничего…

Муртаза мычит что-то невнятное, вжимаясь в мать. Упыриха берет его голову в ладони, поднимает и строго смотрит невидящими глазами в лицо сына.

– Даже думать про это не смей, слышишь? Тысячу раз тебе повторяла – и скажу в тысячу первый: я их не убивала. Сами умерли. От голода.

Тот молчит, лишь дышит – шумно, со свистом.

– Молока им не давала – это правда. Все, что было во мне, до последней капли, тебе оставляла. Они сначала пытались драться – силой хотели у тебя грудь отнять. Они были сильнее тебя. А я была сильнее их. И тебя в обиду не дала. Потом у них силы закончились, и ты стал сильнее. А они умерли. Все. Больше ничего не было.

Упыриха подтягивает подбородок к носу, смяв морщины на лице, прикрывает глазницы чуть подрагивающей рукой – в золотых перстнях тускло мерцают отражения керосиновых ламп.

– И слышишь, сынок? Мы их не ели. Мы их похоронили. Сами, без муллы, ночью. Ты просто был маленький и все забыл. А что могил их нет, так у меня уже язык отсох тебе объяснять, что тем летом всех хоронили – без могил. По кладбищам людоеды табунами ходили, чуть увидят свежую могилу – разроют и сожрут покойника. Так что поверь мне, поверь наконец, спустя полвека. Те, кто слухи эти мерзкие про нас с тобой распускал, уже давно сами землей стали. А мы с тобой – живы. Видно, не зря Аллах нам такую милость посылает, а?

– Мама, мама, – Муртаза хватает ее поднятую руку и начинает целовать.

– То-то же, – Упыриха наклоняется к сыну и накрывает его сверху телом, головой, руками. Две тощие белые косицы ложатся поверх спины Муртазы, протягиваются до пола. – Ты – самый сильный, Муртаза. Никому тебя не победить, не сломить. И сон мой вчерашний про это был, сам знаешь. Если кому и суждено покинуть этот дом или этот мир, так не тебе. Твоя мелкозубая жена не смогла родить тебе сына и скоро пропадет в преисподней. А тебе так мало лет – ты сможешь продолжить свой род. Будет у тебя еще сын. Ничего не бойся. Мы с тобой останемся в этом доме, сердце мое, и будем жить еще долго. Ты – потому что молодой. А я – потому что не смогу оставить тебя одного.

Становится отчетливо слышно, как медленно и неумолимо бьется в громадине напольных часов скрипучее механическое сердце.

– Спасибо тебе, мама, – Муртаза тяжело поднимается с колен. – Пойду.

Он гладит мать по лицу, волосам. Укладывает в постель, взбивает подушки, накрывает одеялом. Целует обе руки – в запястье, затем в локоть. Подкручивает фитили – становится темно. За ним хлопает дверь.

Скоро раздается полусонное сопение старухи, уплывающей на пышном ложе из воздушных перин и одеял обратно в призрачную страну сновидений.

Зулейха прижимает к себе руку с засохшими кусочками скорлупы на ладони, беззвучно прокрадывается к выходу и выскальзывает наружу.

Муртаза сидит на корточках у печи и мрачно колет щепу. Желтые отсветы пламени шныряют по лезвию топора: вверх-вниз, вверх-вниз. Зулейха, переваливаясь уткой, ходит по заветным половицам над тайниками с припасами: не сильно ли скрипят?

– Стой, – голос у мужа хриплый, словно треснувший.

Зулейха испуганно прислоняется к поставленным друг на друга сундукам у окна, рукой торопливо поправляя кружевную каплау (на покрывалах только гостям сидеть разрешается и мужу, конечно). Ох и злой он сегодня, гневливый – словно джинн вселился. Хоть и сходил к матери, а не успокоился. Ждет красноордынцев. Боится.

– Они за одиннадцать лет все наши тайники уже наизусть выучили. – Топор Муртазы режет полено мягко, как масло. – Захотят – весь дом по бревнышку разнесут, а что надо – найдут.

Гора белых щепок около Муртазы растет. Куда столько щепы? И за неделю не израсходовать.

– Только и остается гадать: корову возьмут или лошадь, – наконец Муртаза размахивается и со всей силы вгоняет топор в чурбак.

– Пахать скоро, – вздыхает Зулейха робко. – Пусть лучше корову забирают.

– Корову?! – вскидывается муж тотчас, словно обжегшись.

Дыхание – резкое, плотное, со свистом. Так дышит бык перед тем, как броситься на соперника.

Не вставая с колен, Муртаза кидается к Зулейхе. Та в страхе отшатывается. Алла сакласын… Могучим плечом Муртаза сдвигает сундуки – легко, словно картонные. Ногтями сковыривает постанывающую половицу. По локоть погружает руку в дышащую влажным холодом черную дыру – достает плоский железный ящик. Тускло звякает прихваченная морозом крышка. Муртаза торопливо всовывает в рот длинную загогулину конской колбасы, остервенело жует.

– Не отдам, – мычит с набитым ртом. – В этот раз – ничего не отдам. Я сильный.

Аромат конины плывет по комнате. Зулейха чувствует, как рот набухает сладкой слюной. В последний раз ела казылык еще в прошлом году. Она берет с печной приступки свежий каравай и протягивает мужу: ешь с хлебом. Тот мотает головой. Его челюсти работают быстро и сильно, как жернова на мельнице. Слышно, как скрипят под крепкими зубами упругие конские жилы. Блестящие нитки слюны падают из открытого рта на ворот мужниной кульмэк.

Муртаза, не вынимая колбасу изо рта, шарит рукой по углам ящика. Достает нежно белеющую в полутьме головку сахара, бьет по ней со всей силы обухом топора – сверкая на изломе острыми голубыми искрами, откалывается большой кусок, – затем сует руку в один из сундуков и находит граненый стеклянный флакон: крысиный яд, в прошлом году привез из Казани. Поливает кусок сахара жидкостью из флакона.

– Поняла, женщина? – хохочет.

Зулейха испуганно пятится к стене. Муртаза кладет сочащийся тяжелыми длинными каплями сахар на подоконник, обтирает мокрые ладони о живот. Любуясь, откидывает голову с торчащей изо рта кызылык.

– Если придут за скотом, когда меня не будет, – дашь корове и лошади. Поняла?

Зулейха мелко кивает, прижимаясь спиной к выпуклым бревнам стены.

– Поняла?! – не услышавший ответа Муртаза хватает ее за косы и тычет лицом в подоконник, где сохнет в горько пахнущей лужице сахар, вблизи похожий на крупный, чуть подтаявший в тепле кусок льда.

– Да, Муртаза! Да!

Он отпускает ее, довольно смеется. Сидя на полу, топором отрубает куски кызылык и набивает ими рот.

– Ничего… – бормочет сквозь мерное чавканье. – Не отдам… Я сильный… Никому не победить, не сломить…

И Алла, что страх с мужем делает… Зулейха, опасливо озираясь, убирает подальше граненый флакон с жидкой смертью. Прибирает раскрытую половицу, задвигает сундуками. Когда поправляет складки узорчатой каплау поверх вновь аккуратно выстроенной на привычном месте пирамиды сундуков (словно и не было ничего), оконное стекло взрывается сотней мелких осколков. Что-то маленькое и увесистое влетает с улицы, глухо стукает об пол.

Зулейха оборачивается. В окне многоконечной звездой чернеет большая дыра, через которую в комнату летят медленные мохнатые снежинки. Мелкие куски стекла все еще осыпаются на пол с нежным позвякиванием.

Муртаза сидит на полу с набитым ртом. Между его расставленных ног – камень, завернутый в плотную белую бумагу. Продолжая ошеломленно жевать, Муртаза разворачивает ее. Это плакат: гигантский черный трактор давит крупнозубчатыми колесами расползающихся во все стороны противных человечков – как тараканов. Один из них очень походит на Муртазу: стоит, испуганно выставив на стальную махину трактора кривые деревянные вилы. Сверху падают тяжелые квадратные буквы: “Уничтожим кулака как класс!” Зулейха не умеет читать, тем более – по-русски. Но понимает, что черный трактор вот-вот раздавит крошечного Муртазу с его смешными вилами.

Муртаза сплевывает огрызок колбасы на сяке. Тщательно вытирает руки и губы смятым плакатом, швыряет его в печь – и трактор, и противные человечки корчатся в оранжевых языках пламени, через мгновение оборачиваются пеплом, – затем хватает топор и выбегает на улицу.

Всевышний, на все твоя воля! Зулейха припадает к окну в сетке длинных трещин. Муртаза выскакивает на улицу в распахнутом на груди кульмэк, с непокрытой головой. Озирается, грозя разыгравшейся метели топором. Вокруг – никого. Слава Аллаху. А не то зарубил бы, грех на душу взял.

Зулейха садится на сяке, подставляет разгоряченное лицо порывам ветра из разбитого окна. Это проделки Мансурки-Репья и его нищебродов из *ящейки,* не иначе. Не раз они ходили по дворам, агитировали в *калхус,* ругались с народом. Плакатами весь Юлбаш завесили. Окна бить еще не осмеливались. А теперь вот – дожили. Видно, знают: что-то готовится. Шайтан их возьми. За новым стеклом в соседнее село ехать. Траты какие. И изба за ночь выстудится… Муртазы все нет. Не простыл бы – без тулупа в метель. Вот уж правда – джинн вселился…

От внезапной страшной мысли Зулейха подпрыгивает. Опрометью бежит из избы в сени. Распахивает дверь на улицу.

Муртаза и Кюбелек стоят посередине двора – лоб ко лбу. Он нежно гладит курчавую коровью морду, доверчиво приникшую к его лицу. Затем достает из-за спины топор и обухом шибает Кюбелек меж больших влажных глаз с длинными ресницами. Корова с тихим глубоким вздохом валится на землю, поднимая вокруг себя плотное снежное облако.

Зулейха громко кричит и ссыпается по ступеням крыльца – к Муртазе. Тот не глядя тычет в ее сторону кулаком. Она падает на спину – ступени ударяют по ребрам.

Свистит топор. Что-то горячее брызжет Зулейхе на лицо – кровь. Муртаза работает топором быстро и сильно, без остановки. Лезвие с равномерным стоном входит в теплую плоть. Шипит воздух, выходя из легких Кюбелек. С урчащим бульканьем хлещет кровь из трубочек сосудов. Плотный розовый пар окутывает неподвижную, быстро распадающуюся на куски говяжью тушу.

– Вот вам – реквизиции в шестнадцатом! – Муртаза перерубает кости легко, как ветки. – Продуктовые армии в восемнадцатом! Девятнадцатом! Двадцатом! Вот вам ссыпка! Вот вам продуктовый налог! Вот вам хлебные излишки! Возьмите! Если! Сможете!

У двери в хлев встает на дыбы Сандугач, истошно ржет, бьет в воздухе тяжелыми копытами, выкатывая белки ошалелых глаз. Жеребенок мечется под ногами у матери.

Муртаза оборачивается к лошади: кульмэк красная, в распахнутом вороте – густо парящая грудь, в руке – черный от крови топор. Зулейха приподнимается на локтях, ребра обжигают спину. Муртаза перешагивает через коровью морду с оскаленными зубами и острым, чернильно-синим вывалившимся языком – направляется к Сандугач.

– Пахать? Пахать на ком будешь? – Зулейха бросается Муртазе на спину. – Весна скоро! Умрем с голоду!

Он пытается стащить ее с загривка, размахивает руками – свистит зажатый в правой топор. Зулейха впивается зубами в мужнино плечо. Он вскрикивает и швыряет ее через себя – она летит, земля и небо меняются местами, затем еще и еще. Что-то большое, твердое, с крупными острыми углами толкает ее в спину – крыльцо? Она переворачивается на живот и, не поднимаясь, быстро перебирает руками и ногами – вскарабкивается на обледенелые ступени, юркает в дом. Муж топочет следом. Двери хлопают резко, как удары пастушьего кнута, – одна, вторая.

Зулейха бежит по комнате – под ногами звякает разбитое оконное стекло, – вскакивает на сяке, вжимается в угол избы, прикрывается попавшейся под руку подушкой. Муртаза уже – рядом. С бороды каплет пот, глаза – навыкате. Взмахивает рукой. Топор со свистом рассекает наволочку и наперник – подушка взрывается облаком птичьего пуха. Легкие белые перья тотчас наполняют комнату, зависают в воздухе.

Муртаза протяжно ухает и бросает топор – не в Зулейху, в сторону. Лезвие взблескивает в воздухе и втыкается в резной наличник.

Сверху медленной теплой метелью падает пух. Муртаза тяжело дышит, утирает залепленный белым лысый череп. Не глядя на Зулейху, выдергивает топор из наличника и выходит вон. Под его тяжелыми шагами стекло хрустит громко, как февральский наст.

Снежинки залетают в избу через разбитое окно и смешиваются с парящим пухом. Белая круговерть в избе – нарядная, праздничная. Зулейха осторожно, стараясь не порезаться, затыкает разрубленной подушкой дыру в окне. Видит на сяке огрызок конской колбасы, съедает. Вкусно. Хвала Аллаху, когда еще придется есть казылык. Облизывает жирные соленые пальцы. Идет на улицу.

Весь снег у крыльца – цвета сочной, давленной с сахаром земляники.

В дальнем углу, на топчане у бани, Муртаза рубит мясо. Сандугач с жеребенком не видно.

Зулейха проходит в хлев. Да вот же они оба, в загоне. Сандугач вылизывает детеныша длинным шершавым языком. Слава Аллаху, живы. Она гладит теплую бархатную морду лошади, треплет жеребенка по щекотно торчащей гривке.

А во дворе – тысячи снежных хлопьев ложатся на красный снег, покрывают его, превращают снова в белый.

Встреча

Схрон был в надежном месте. Все, что придумывал и делал своими руками Муртаза, было хорошо и крепко – на две жизни.

Сегодня они встали затемно. Позавтракали холодным, выехали со двора еще при свете полупрозрачного месяца и последних предрассветных звезд. К заре добрались. Небо из черного уже стало ярко-синим, а укрытые белым деревья налились светом, тронулись алмазным блеском.

В лесу по-утреннему тихо, и снег под валенками Муртазы хрустит особенно сочно – как свежая капуста, когда Зулейха рубит ее топориком в квашне. Муж с женой пробираются по глубоким, выше колена, плотным сугробам. На двух деревянных лопатах, как на носилках, – драгоценный груз: мешки с рассадным зерном, заботливо примотанные веревками к древкам. Несут осторожно, защищая от острых веток и коряг. Если мешковина порвется – Зулейхе несдобровать. Изнемогший в ожидании красноордынцев Муртаза стал совсем бешеный – зарубит ее, как Кюбелек вчера, и глазом не моргнет.

Впереди, меж прихваченных инеем елей, уже голубеет просвет. Березы расступаются, звенят крошечными сосулями на нитяных ветвях, открывают широкую, прибранную толстым покрывалом снега поляну. Вот и кривая липа с узким и длинным, как щель, дуплом, рядом озябший куст рябины – дошли.

На липовой ветке – синица. Синий хохолок – осколком неба, глазки – черным бисером. Не боится, смотрит на Зулейху внимательно, чвиркает.

– Шамсия! – Зулейха улыбается и протягивает ей руку в толстой меховой рукавице.

– Не болтай, женщина! – Муртаза швыряет пригоршню снега, и птица, порскнув в сторону, улетает. – Работать пришли.

Зулейха испуганно хватается за лопату.

Начинают разбрасывать сугроб под липой – скоро под ним проступают очертания небольшого темного бугорка. Зулейха скидывает рукавицы и быстро краснеющими на морозе руками расчищает его, оглаживает. Под холодом снега – холод камня. Ногти выскребают снежную крошку из округлой арабской вязи, пальцы растапливают лед в мелких ямках ташкиля над длинной волной букв. Зулейха не умеет читать, но знает, что́ здесь высечено: Шамсия, дочь Муртазы Валиева. И дата: 1917 год.

Пока Муртаза чистит могилу старшей дочери, Зулейха делает шаг в сторону, опускается на колени и нащупывает под снегом еще один таш, локтями расшвыривает снег. Онемевшие пальцы сами находят камень, скользят по заледеневшим буквам: Фируза, дочь Муртазы Валиева. 1920 год.

Следующий таш: Сабида. 1924.

Следующий: Халида. 1926.

– Отлыниваешь?! – Муртаза уже расчистил первую могилу и стоит, опираясь на древко лопаты, сверлит Зулейху глазами: зрачки желтые, холодные, а белки – темные, мутно-рубиновые. Морщина посереди лба шевелится, как живая.

– Со всеми поздоровалась, – Зулейха виновато опускает взгляд.

Четыре слегка покосившихся серых камня стоят в ряд и молча смотрят на нее – низкие, ростом с годовалого ребенка.

– Помоги лучше! – Муртаза крякает и со всей силы вонзает лопату в мерзлую землю.
– И Алла, подожди! – Зулейха бросается к ташу Шамсии и припадает к нему руками.
Муртаза дышит недовольно, шумно, но отставил лопату – ждет.

– Прости нас, зират иясе, дух кладбища. До весны не хотели тебя тревожить, да пришлось, – шепчет Зулейха в округлые узоры букв. – И ты прости, дочка. Знаю, не сердишься. Ты и сама рада помочь родителям.

Зулейха встает с колен, кивает: теперь можно. Муртаза долбит землю у могилы, пытаясь вставить лопату в еле видную, смерзшуюся щель. Зулейха ковыряет лед палкой. Щель постепенно ширится, растет, поддается – и наконец распахивается с протяжным треском, обнажая длинный деревянный ящик, из которого веет мерзлой землей. Муртаза бережно ссыпает туда солнечно-желтое, звонкое на морозе зерно, Зулейха подставляет руки под тяжелые рассыпчатые струи.

Хлеб.

Будет спать здесь, между Шамсией и Фирузой, в глубоком деревянном гробу, – ждать весны. А когда запахнет в воздухе теплом, когда обнажатся и прогреются луга, опять ляжет в землю – чтобы уже прорасти и подняться зелеными всходами на пашне.

Вырыть схрон на деревенском кладбище придумал Муртаза. Зулейха сначала испугалась: тревожить мертвых – не грех ли? Не лучше ли спросить дозволения муллы-хазрэта? И не рассердится ли дух кладбища? А потом согласилась – пусть дочери помогают по хозяйству. Дочери помогали исправно – не первый год стерегли до весны родительские припасы.

Крышка ящика захлопывается. Муртаза забрасывает снегом разворошенную могилу. Затем обматывает пустые мешки вокруг черенков лопат, закидывает на спину и направляется в лес.

Зулейха присыпает разрытые таши – как укрывает одеялом на ночь. До свидания, девочки. Увидимся весной – если предсказание Упырихи не сбудется раньше.

– Муртаза, – тихо зовет Зулейха. – Если что – меня здесь положишь, с девочками. Справа от Халиды – как раз свободно. Мне много места и не надо, сам знаешь.

Муж не останавливается, его высокая фигура мелькает меж березами. Зулейха тихо бормочет что-то камням на прощание, натягивает рукавицы на окоченевшие руки.

На ветке липы опять щебетание, юркая синица вернулась на свое место. Зулейха радостно машет ей – “Шамсия, я знала, это ты!” – и устремляется вслед за мужем.

Сани неспешно едут по лесной дороге. Сандугач всхрапывает, подгоняя жеребенка. Тот радостно скачет рядом, то утопая тонкими ножками в придорожных сугробах, то тыкаясь горбоносой мордой в материнский бок. Увязался сегодня за ними. И то дело: пусть привыкает к поездкам в лес.

Солнце еще не достигло полудня, а дело уже сделано. Слава Аллаху, их никто не заметил. Не сегодня завтра пурга заметет следы на кладбище – как и не было ничего.

Зулейха сидит в санях, как всегда, спиной к Муртазе. Затылком чувствует, как тяжелые мрачные мысли шевелятся в его голове. Надеялась, что, схоронив зерно, муж немного успокоится и крупная морщина на лбу, похожая на зарубку от топора, разгладится. Нет, морщина не ушла, стала еще глубже.

– Ночью ухожу в лес, – говорит он куда-то вперед, обращаясь не то к хомуту на шее Сандугач, не то к лошадиному хвосту.

– Как же? – Зулейха поворачивается и утыкается жалобным взглядом в неумолимую спину мужа. – Январь ведь…

– Много нас будет. Не замерзнем.

Муртаза еще ни разу не уходил в лес. Другие мужчины уходили – в двадцатом году, в двадцать четвертом. Сбивались в группы, прятались по лесам от новой власти. Скот забивали

или уводили с собой. Жены с детьми оставались дома – ждать и надеяться, что мужья вернутся. Бывало, что возвращались, хотя чаще – нет. Кого красноордынцы пристрелят, кто сам без вести пропадет…

– До весны не жди, – продолжает Муртаза. – За матерью приглядывай.

Зулейха смотрит на шершавую ноздреватую овчину, туго натянутую меж мощных лопаток мужа.

– Лошадь заберу. – Муртаза причмокивает, и Сандугач послушно прибавляет шаг. – Жеребенка можете съесть.

Малыш спешит за матерью, забавно выкидывая ноги то вперед, то назад – играется.

– Она не переживет, – говорит Зулейха спине Муртазы. – Мать твоя не переживет, говорю.

Спина угрюмо молчит. Копыта Сандугач глухо стучат по снегу. Где-то в лесу насмешливо трещат сороки. Муртаза снимает с головы лохматый малахай и вытирает блестящий бугристый череп – от гладкой розовой кожи поднимается еле видный пар.

Разговор окончен. Зулейха отворачивается. Ни разу в жизни она не оставалась одна. Кто же ей будет говорить, что делать и чего не делать? Ругать за плохую работу? Защищать от красноордынцев? Кормить, в конце концов? А что же Упыриха – ошиблась? И останется старуха в доме не со своим любимым сыном, а с презираемой невесткой? И Алла, как же это все?..

Пение настигает их внезапно, как порыв ветра. Только что в ушах звучал жалобный скрип полозьев, а вот уже – уверенный мужской голос. Красивый, глубокий, где-то далеко в лесу. Слова русские, мелодия незнакомая. Зулейха хочет послушать, но Муртаза отчего-то суетится, подгоняет Сандугач.

Никто не даст нам избавленья,
ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
своею собственной рукой.

Зулейха неплохо знает русский. Она понимает, что слова в песне хорошие – про свободу и спасение.

– Лопаты спрячь, – бросает ей Муртаза сквозь зубы.

Зулейха торопливо кутает лопаты мешками, сверху прикрывает юбками.

Сандугач трусит ходко, но все же недостаточно быстро – подстраивается под неровный бег жеребенка. И голос приближается, настигает.

Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
отвоевать свое добро,
вздувайте горн и куйте смело,
пока железо горячо.

Песня работящего человека, решает Зулейха, – кузнеца или плавильщика. Уже понятно, что едет этот человек по лесной дороге вслед за ними и скоро покажется из-за деревьев. Каких он лет? Наверное, молод – в голосе много силы, много надежды.

Это есть наш последний
и решительный бой.
С Интернационалом
воспрянет род людской.

Вдали меж деревьев дрожат темные быстрые силуэты. И вот уже небольшой конный отряд показался на дороге. Впереди мужчина – посадка легкая, прямая, издалека понятно: не кузнец и не плавильщик – воин. Когда подъезжает поближе, становятся видны широкие зеленые нашивки на серой шинели, на голове – остроконечный суконный шлем с бурой звездой. Красноордынец. Он-то и поет.

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право.
А паразиты – никогда.

Аллах наградил Зулейху прекрасным зрением. В ярком солнечном свете она разглядывает непривычно гладкое для мужчины лицо красноордынца (ни усов, ни бороды – как девушка, одно слово). Глаза под козырьком шлема кажутся темными, а ровные белые зубы – сделанными из сахара.

И если гром великий грянет
над сворой псов и палачей,
для нас все так же солнце станет
сиять огнем своих лучей.

Красноордынец уже совсем близко. Щурится от солнца, морщинки бегут из уголков глаз под длинные суконные уши буденовки. Улыбается Зулейхе, бесстыжий. Она опускает глаза, как и положено замужней женщине, прячет подбородок глубже в шаль.

– Эй, хозяин, до Юлбаша далеко? – красноордынец, не отводя настырных глаз от Зулейхи, подъезжает вплотную к саням – она чувствует горячий соленый запах его коня.

Муртаза, не оборачиваясь, продолжает подгонять Сандугач.

– Оглох ты, что ли? – конный легко сжимает пятками круп коня и в два скачка обгоняет сани.

Муртаза внезапно хлещет поводьями по спине Сандугач, и та резко подает вперед, сталкивается грудью с конем военного. Конь взволнованно ржет, оступается – и увязает задними ногами в придорожном сугробе, месит снег.

– Или ослеп?! – голос красноордынца звенит от гнева.

– Испугался, мужичок, к мамке под юбку торопится, – конный отряд нагоняет сани, и чернявый мужичок с ярким золотым зубом под смешливо приподнятой верхней губой дерзко шарит глазами по саням. – Пугливый контингент!

Сколько же их тут? Как пальцев на обеих руках, не больше. Мужики крепкие, здоровые. Кто в шинели, кто просто в тулупе, затянутом на поясе широким рыжим ремнем. У каждого за спиной – винтовка. Штыки то и дело всверкивают на солнце, аж в глазах рябит.

А одна – баба. Губы – брусникой, щеки – яблоками. В седле сидит ровно, высоко подняв голову и выставив вперед грудь – позволяет собой любоваться. Даже под тулупом видно: такая грудь – на троих бы хватило. Одно слово – кровь с молоком.

Конь красноордынца наконец выбирается обратно на твердую дорогу, и всадник хватает Сандугач под уздцы. Сани останавливаются, Муртаза бросает вожжи. На конных не смотрит, прячет угрюмый взгляд.

– Ну? – грозно спрашивает красноордынец.

– Да они тут по-русски ни бельмеса, товарищ Игнатов, – подает голос пожилой военный с длинным шрамом через пол-лица.

Шрам белый и очень ровный, как натянутая веревка. От сабли, догадывается Зулейха.

– Ни бельмеса, значит… – красноордынец Игнатов внимательно оглядывает лошадь, спрятавшегося у нее под брюхом жеребенка и самого Муртазу.

Тот молчит. Малахай надвинут на лоб – глаз не видно. Кудрявые облачка плотного пара вылетают из побелевших ноздрей, покрывая мохнатым инеем усы.

– Что-то ты, брат, хмурый, – задумчиво произносит Игнатов.

– А его жена отругала! – блестит чернявый золотым зубом, подмигивая Зулейхе сначала одним глазом, затем другим. Белки у него мутные, как овсяная затируха, а зрачки мелкие, комочками. В отряде смеются. – Татарочки – они ох и суровые! Спуску не жди! Так, зеленоглазая?

Зеленоглазой ее в детстве называл отец. Давно это было. Зулейха уже успела забыть, какого цвета у нее глаза.

В отряде смеются громче. Десяток пар дерзких и насмешливых глаз пристально разглядывает ее. Она укрывает вмиг потеплевшие щеки краешком шали.

– Суровые, да не больно красивые, – лениво роняет грудастая баба, отворачиваясь.

– Куда уж им до тебя! – улюлюкают красноордынцы.

Зулейха слышит, как сипло, с натугой дышит муж за ее спиной.

– Отставить! – Игнатов продолжает придирчиво разглядывать Муртазу. – Куда ж ты ездил спозаранку, хозяин? Да еще и с женой. Дров не нарубил, вижу. Что потерял в лесу? Да не прячь глаза-то. Вижу, что все понимаешь.

Громко фыркают в тишине кони, перебирают копытами. Зулейха не видит – чувствует, как морщина на лбу Муртазы углубляется, врезается ему в череп, а ямка на подбородке мелко трясется, как поплавок над вцепившейся в крючок рыбой.

– А они грибы под снегом копали, – чернявый приподнимает штыком юбку Зулейхи – из-под мешков показываются лезвия лопат. – Да не много набрали! – подхватывает один из мешков на острие штыка и трясет им в воздухе.

Смешки в отряде перерастают в заливистый смех. Несколько крупных желтых зерен падает из мешка Зулейхе на юбку – и смех обрывается, как ножом срезали.

Зулейха, глядя в подол, сбрасывает рукавицу и торопливо собирает зерна в кулак. Конные молча объезжают сани, окружая. Муртаза медленно передвигает руку к топору, заткнутому за пояс.

Игнатов бросает поводья подъехавшему военному и спрыгивает на землю. Подходит к Зулейхе, обеими руками берет ее кулак и силой разжимает. Вблизи видно, что глаза у него вовсе не темные, а светло-серые, как речная вода. Красивые глаза. А пальцы – сухие, неожиданно горячие. И очень сильные. Кулак Зулейхи поддается, раскрывается. На ее ладони – длинные, гладкие, медом светящиеся на солнце зерна. Сортовая посевная пшеница.

– Грибы, значит… – тихо говорит Игнатов. – А может, ты, кулацкая гнида, что другое в лесу копал?

Сидевший истуканом Муртаза вдруг резко поворачивается к саням и с ненавистью смотрит Игнатову в глаза. Сдавленное дыхание клокочет в глотке, подбородок ходуном. Игнатов расстегивает кобуру на поясе и достает черный револьвер с длинным хищным стволом, наставляет на Муртазу, взводит курок.

– Не отдам! – хрипит Муртаза. – В этот раз – ничего не отдам!

Взмахивает топором. Дружно лязгают винтовки. Игнатов нажимает на спуск – выстрел грохает, эхом рассыпается в лесу. Сандугач испуганно ржет. С елей падают сороки и с громкими криками уносятся в чащу. Тело Муртазы валится в сани: ногами к лошади, лицом вниз. Сани крупно вздрагивают.

На Зулейху глядит дюжина винтовок: черные дыры стволов под сверкающими иглами штыков. От револьвера поднимается синий дымок. Горько пахнет порохом.

Игнатов ошеломленно смотрит на распростертое в санях неподвижное тело. Вытирает рукой с револьвером верхнюю губу, убирает оружие в кобуру. Берет выпавший из рук хозяина топор и с размаху всаживает его в задок саней – в пальце от головы Муртазы. Затем вскакивает в седло, рывком трогает коня и, не оглядываясь, во весь опор уносится по дороге вперед. Снежная пыль брызжет из-под копыт.

– Товарищ Игнатов! – кричит ему вслед военный со шрамом. – С бабой-то что?

Игнатов лишь машет рукой: оставь!

– Вот тебе, зеленоглазая, и грибы, – выпячивает напоследок широкую губу чернявый.

Конные спешат за командиром. Отряд обтекает сани, как волны – остров. Тулупы с курчавыми воротниками, лохматые шапки, серые шинели, красные лампасы проплывают мимо, уносятся вслед за всадником в остроконечной буденовке. Скоро топот копыт стихает. Зулейха остается одна посреди лесного безмолвия.

Она неподвижно сидит, сложив руки на коленях и сжимая в кулачке пшеничные зерна. Перед ней раскинулось могучее тело Муртазы. Он вольно разметал руки и ноги, голову удобно повернул набок, разложив длинную бороду по доскам. Спит, как обычно на сяке, – занимая все пространство. Даже маленькой Зулейхе рядом не поместиться.

Ветер перебирает верхушки деревьев. Где-то в лесу скрипят сосны. Через пару часов жеребенок, проголодавшись, находит губами материнское вымя и сосет молоко. Сандугач умиротворенно склоняет голову.

Солнце неспешно тянется по небосклону, затем медленно тонет в больших снежных тучах, наплывающих с востока. Вечереет. С неба швыряет снегом.

Не дождавшись привычного окрика хозяина и удара вожжей по крупу, Сандугач делает несмелый шаг вперед. Затем второй, третий. Сани, громко скрипнув, трогают с места. Лошадь шагает по дороге в Юлбаш, рядом скачет веселый сытый жеребенок. Место возницы пустое, на передке лежат вожжи. В санях, спиной к лошади, сидит Зулейха и смотрит невидящим взглядом на остающийся позади лес.

На дороге, где весь день простояли сани, виднеется небольшое, размером с каравай, пятно густо-красного цвета. Снег падает на пятно и быстро засыпает его.

Позже, несмотря на все усилия, Зулейха не сможет вспомнить, как доехала до дома. Как оставила нераспряженную лошадь во дворе, а сама ухватила Муртазу под мышки и потащила в дом. Как тяжело было огромное, неповоротливое мужнино тело, как громко стучали его пятки о ступени крыльца.

Она взбила ему подушки (повыше, как он любит), раздела, уложила на сяке. Сама легла рядом. Они пролежали так долго, всю ночь. Уже давно дотлело в печи брошенное туда утром Муртазой полено, уже звонко хрустнули на морозе бревна остывающей избы. Уже треснуло и осыпалось с плоским стеклянным звоном разбитое вчера окно, и в голый квадрат хлестнуло злым ветром вперемешку с колкой снежной крупой. А они все лежали, плечо к плечу, и смотрели широко открытыми глазами на потолок – сначала темный, затем густо залитый белым лунным светом, затем вновь темный. Впервые Муртаза не гнал ее на женскую половину. Это было совершенно удивительно. И чувство безмерного удивления будет единственным, что останется в памяти Зулейхи от той ночи.

А когда край неба тревожно заалел предчувствием морозного рассвета, в ворота застучали. Стук – громкий, сердитый, настойчивый. Так зло и неумолимо стучит усталый хозяин, вернувшийся домой и внезапно обнаруживший свой дом кем-то запертым изнутри.

Зулейха слышит шум – далекий, еле различимый, будто сквозь пуховую перину. Но нет сил оторвать глаза от потолка. Пусть Муртаза встанет и отворит. Не женское это дело – открывать двери по ночам.

Засов на воротах бряцает, впуская непрошеных гостей. Двор наполняется голосами, ржанием лошадей. Несколько высоких силуэтов проплывают по темному еще двору. Хлопает дверь в сенях, дверь в избу.

– Ну и холод! Вымерли тут все, что ли?

– Подтопи-ка печь! Околеем, к чертовой матери.

Топот кованых сапог по мерзлым доскам. Половицы скрипят громко, истошно. Лязг печной заслонки. Чирканье спички и резкий запах серы. Треск разгорающегося огня в печи.

– Где хозяева-то?

– Найдем, не полошись. Осмотрись пока.

Фитилек лампы мигает, разгораясь, – по стенам пляшут кривые черные тени, – и вот уже мягкий теплый свет наполняет избу. Над Зулейхой склоняется широконосое лицо, порченное крупными оспинами.

Председатель сельсовета – Мансурка-Репей. Держит керосинку у самого лица, и оттого круглые оспяные шрамы кажутся глубокими, как выеденными ложкой. Он деловито смотрит

на Зулейху. Переводит взгляд на осунувшееся лицо Муртазы, озадаченно разглядывает черное запекшееся пятно на его груди, растерянно присвистывает.

– Мы, Зулейха, к мужу твоему пришли…

У рта Мансурки расцветает кудрявое морозное облачко. Он говорит по-русски с сильным акцентом, но бойко, складно. Лучше, чем Зулейха. Навострился с красноордынцами болтать.

– Вставай, разговор есть.

Зулейха не знает, сон это или явь. Если сон – почему свет так режет глаза? Если явь – почему звуки и запахи доносятся издалека, словно из подпола?

– Зулейха! – председатель трясет ее за плечо, сначала легонько, потом сильнее. – Вставай, женщина! – громко и зло кричит наконец по-татарски.

Тело откликается на знакомые слова, как лошадь – на удар вожжей. Зулейха медленно опускает ноги на пол, садится на сяке.

– Ну вот, – Мансурка удовлетворенно переходит обратно на русский. – Товарищ уполномоченный, готово!

В центре избы, заложив руки за пояс ремня и широко расставив сапоги, стоит Игнатов. Не глядя на Зулейху, достает из твердого кожаного планшета мятый лист бумаги, карандаш. Раздраженно оглядывается:

– Да что ж это такое?! В котором доме – ни стола, ни лавки. Протокол как писать?

Председатель торопливо хлопает ладонью по крышке верхнего сундука у окна:

– Вот, здесь можно.

Игнатов кое-как устраивается на сундуках, льняная каплау под его большим телом сминается, сползает на пол. Он согревает дыханием руки, слюнявит кончик карандаша, царапает им по бумаге.

– Не привили еще социалистический быт, – извиняющимся тоном бормочет Мансурка, придерживая норовящие разъехаться в разные стороны сундуки. – Язычники, что с них возьмешь.

На женской половине вдруг – грохот бьющихся горшков, звон падающих медных тазов. Заполошно кудахчут куры. Кто-то громко, с оттягом чертыхается, путаясь в складках чаршау, – и из-за них выскакивает чернявый в облаке птичьего пуха и перьев, под мышками – по истошно вопящей курице.

– Вот тебе и на! Зеленоглазая! – радостно восклицает он, увидев Зулейху. – Разрешите-позвольте! – Не выпуская трепыхающихся куриц из-под мышек, на ходу быстрым движением фокусника аккуратно выдергивает из-под Игнатова кружевную паутину каплау. – А сундучочки попозже заберу… – Под сердитым взглядом Игнатова наконец пятится к двери и исчезает, оставляя за собой высокий перьевой вихрь.

Игнатов заканчивает писать и со стуком кладет карандаш на заполненный протокол:

– Пусть распишется.

Лист бумаги на сундуке белеет, как сложенная тастымал.

– Что это? – Зулейха медленно переводит взгляд на председателя. – Мансурка, это зачем?

– Сколько раз повторял: называть меня надо – товарищ председатель! Ясно? – Мансурка грозно приподнимает просвечивающий сквозь рыжеватую бороденку подбородок. – Учишь их новой жизни, учишь… Выселяем вас… – Он недовольно оглядывается на сяке, где темнеет могучее тело Муртазы. – …Тебя. Как кулацкий элемент первой категории. Контрреволюционный актив. Партсобрание утвердило. – Мансурка тычет коротким пальцем в бумагу на сундуке. – А избу забираем под сельсовет.

– Ты словами новыми меня не путай. Скажи толком, товарищ Мансурка, – что случилось?

– Это ты мне скажи! Почему у твоего Муртазы собственность до сих пор не коллективная? Против власти идете, единоличники?! Язык отсох вас агитировать. Корова – почему не в колхозе?

– Нет коровы.

– А лошадь?! – Мансурка кивает за окно, где во дворе стоит не распряженная до сих пор Сандугач, под ногами у нее вьется жеребенок. – Две лошади.

– Так ведь наши.

– Наши… – передразнивает. – А мукомолка?

– Как же без нее в хозяйстве? Вспомни – сам сколько раз у нас одалживал.

– То-то и оно, – щурит и без того узкие глаза. – Сдача в аренду инструментов труда. Верный признак махрового, закоренелого, неисправимого кулака! – сжимает мелкую руку в злой жилистый кулак.

– Простите-извините, – вернувшийся чернявый выдергивает из-под головы Муртазы стопку подушек в расшитых наволочках (голова со стуком падает на сяке), сдирает с окон занавески, со стен – полотенца, на вытянутых руках выносит из избы огромный ворох белья, подушек, одеял. Ничего не видя перед собой, пинком распахивает жалобно охнувшую входную дверь.

– Осторожней, не у себя дома! – огрызается ему вслед Мансурка. Нежно гладит выпуклые бревна, резные узоры наличников. Нащупывает на них глубокую зарубку от топора и цокает языком, сокрушаясь. – Прикладывай руку, Зулейха, не тяни время, – вздыхает по-дружески, душевно, не отрывая влюбленного взгляда от толстых гладких бревен, щедро проложенных добротной лохматой паклей.

В дверь опять просовывается голова чернявого с возбужденно блестящими глазами:

– Товарищ Игнатов, там от коровы это… одно мясо осталось. Берем?

– Под опись, – хмуро бросает Игнатов и встает с сундука. – Долго мы еще тут будем… политпросвещением заниматься?

– Что же ты, Зулейха, – укоризненно сводит редкие брови к переносице Мансурка. – Товарищи за тобой из самой Казани приехали. А ты задерживаешь.

– Не подпишу, – произносит она в пол. – Никуда не поеду.

Игнатов подходит к окну, стучит костяшками пальцев по стеклу и кивает кому-то снаружи. Половицы под его сапогами тонко и длинно стонут. На колбасе стоит – и не знает, думает Зулейха.

Скоро в избу вваливается военный со шрамом. От долгого стояния на морозе лицо у него стало темно-красным, а шрам – совершенно белым.

– На сборы – пять минут, – указывает Игнатов подбородком на Зулейху.

Неугомонный чернявый осматривает напоследок голую, словно нежилую избу в поисках незамеченной добычи. Наконец поддевает лезвием штыка висящую высоко над входом ляухэ – пытается снять. Витиеватое кружево арабских букв тянется и морщится под стальным острием.

– Это у них вместо икон, – словно в сторону, тихо бросает военный со шрамом.

– Молиться собрался? – Игнатов пристально смотрит на чернявого, крылья носа брезгливо вздрагивают, – и выходит вон.

– Ну вот, а говорили – язычники… – шмыгает носом чернявый, спешит за командиром.

Истерзанная ляухэ остается висеть на своем месте. Мулла-хазрэт однажды объяснил Зулейхе смысл этого изречения: “Не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха, по писанию с установленным сроком”.

– Не подпишешь – так поедешь, – говорит Мансурка Зулейхе.

И со значением указывает на высокую фигуру военного. Тот прогуливается по избе, осматриваясь и задевая штыком оголившиеся жерди киштэ под потолком.

Зулейха падает на колени у сяке, припадает лбом к холодной и жесткой руке Муртазы. Муж мой, данный Всевышним, чтобы направлять, кормить и защищать, – что делать?

– А Муртазу похороним, как и полагается, по советскому обычаю, – успокаивает председатель, любовно оглаживая тщательно беленные, шершавые бока печи. – Все-таки какой хороший был хозяин…

Стальное лезвие касается Зулейхи – подошедший сзади военный легонько стучит штыком по плечу. Она мотает головой: не пойду. И тут же сильные руки подхватывают ее, поднимают в воздух. Зулейха дрыгает руками и ногами, как капризный младенец на руках у взрослого, из-под юбок сверкают шаровары, – но военный держит крепко, до боли.

– Не тронь! – кричит Зулейха из-под потолка. – Грех!

– Сама поедешь? Или понести? – спрашивает откуда-то снизу заботливый голос Мансурки.

– Сама.

Военный осторожно опускает Зулейху. Ноги приземляются на пол.

– Аллах тебя накажет, – бросает она Мансурке. – Он вас всех накажет.

И начинает собирать вещи.

– Потеплее оденься, – советует Мансурка, подкидывая дрова в печь и по-хозяйски шуруя в огне кочергой. – Как бы не застудилась.

Скоро вещи увязаны в узел. Зулейха туго заматывает голову шалью, плотно запахивает тулуп. Берет с печной приступки закутанный в тряпицу остаток каравая – в один карман. С подоконника отравленный сахар – в другой. У окна остается лежать крошечная мертвая тушка – мышонок полакомился ночью.

Готова в дорогу.

Останавливается у двери и окидывает взглядом разоренную избу. Нагие стены, неприкрытые окна, на грязном полу – пара затоптанных тастымал. Муртаза лежит на сяке, вперившись заостренной бородой в потолок. На Зулейху не смотрит. Прости меня, муж мой. Не по своей воле тебя покидаю.

Громкий треск материи – Мансурка срывает чаршау, отделявшую мужскую половину избы от женской, и довольно отряхивает ладони. Разбитые горшки, выпотрошенные сундуки, остатки кухонной утвари бесстыже открываются взору любого входящего. Срам какой.

Зулейха, краснея от невыносимого стыда, опускает глаза и выскакивает в сени.

В небе пылает рассвет.

Посреди двора высится огромная куча утвари: сундуки, корзины, посуда, инструменты… Чернявый, пыхтя от натуги, тащит из амбара тяжелую долбленую колыбель.

– Товарищ Игнатов! Гляньте – брать?

– Дурак.

– Я думал, под опись… – обижается тот, затем, решившись, все же швыряет колыбель на самый верх кучи. – Вот нажили добра – мама не горюй!

– Зато теперь все – колхозное, – Мансурка заботливо подбирает выпавшую корзину и аккуратно кладет обратно.

– Ага. Наше. Народное, – Чернявый широко улыбается и незаметно засовывает в карман маленькую льняную каплау.

Зулейха спускается с крыльца, садится в сани – по привычке спиной к лошади. Застоявшаяся за ночь Сандугач вскидывает голову.

– Зулейха-а-а! – раздается вдруг из дома низкий хриплый голос.

Все оборачиваются к двери.

– Покойник ожил, – громко шепчет в тишине чернявый и мелко крестится тайком, пятясь к амбару.

– Зулейха-а-а! – вновь несется из дома.

Игнатов поднимает револьвер. Колыбель сверзается с кучи и грохается об землю, с треском раскалывается на части. Дверь с протяжным скрипом распахивается, в проеме – Упыриха.

Длинная ночная рубаха развевается, губы зло дрожат. Уперлась в гостей круглыми белыми глазницами, в одной руке – клюка, в другой – ночной горшок.

– Где тебя шайтан носит, мокрая курица?!

– Вот черт, – переводит дух чернявый. – Чуть не поседел.

– Смотри-ка – жива, старая ведьма. – Мансурка вытирает ладонью испарину со лба.

– Это еще кто? – Игнатов засовывает револьвер обратно в кобуру.

– Мать его, – Мансурка разглядывает старуху, восхищенно присвистывает. – Ей лет сто, не меньше.

– Почему нет в списках?

– Так кто же знал, что она еще…

– Зулейха-а-а! Ну дождешься – Муртаза тебе покажет! – Упыриха гневно вздергивает подбородок, трясет клюкой. Размашистым жестом швыряет содержимое горшка перед собой. Сверкают голубые васильки на молочном фарфоре. Мутная жидкость летит метким плевком – на шинели Игнатова расползается большое темное пятно.

Военный вскидывает винтовку, но Игнатов взмахивает рукой: отставить! Мансурка торопливо открывает ворота, и Игнатов, дернув лицом, вскакивает на коня, едет прочь со двора.

– Взять ее? – кричит вслед военный.

– Только живых покойников в обозе не хватало! – доносится уже с улицы.

– Что расселась? – военный вскакивает в седло и нетерпеливо смотрит на Зулейху. – Поехали!

Недоуменно оглядываясь, она перебирается на место возницы и берет в руки тяжелые вожжи. Оборачивается на свекровь.

– Мой Муртаза шкуру-то с тебя спустит! – хрипит с крыльца Упыриха, и ветер развевает тощие веревки ее легких белых кос. – Зулейха-а-а!

Сандугач трогает с места, жеребенок – следом. Зулейха выезжает со двора.

Чернявый едет последним. Поднимает голову и видит на створе ворот желтые обледенелые черепа: скалит длинные редкие зубы лошадь, упрямо пялится черными глазницами бык, баран изогнул змеями волнистые рога.

– Нет, все-таки язычники, – решает он и спешит за остальными.

– Мой Муртаза тебя убьет! Убьет! Зулейха-а-а! – несется вслед.

Мансурка-Репей усмехается. Он запирает ворота снаружи, нежно обхлопывает ладонью крепкие, хорошо подогнанные створки (нет, засовы надо будет сделать покрепче!) и торопится домой – высыпаться. Шутка ли: пятнадцать дворов – за одну-то ночь. Он еще не знает, что в засаде у дома его поджидают двое – прижмут к забору, жарко дохнут в лицо и исчезнут, а он так и останется недвижным кульком висеть на досках, проколотый двумя кривыми серпами, тараща изумленные стеклянные глаза в утреннее небо…

Сани Зулейхи вливаются в длинный караван с другими раскулаченными. Поток течет по главной улице Юлбаша к околице. Конные с винтовками – с обеих сторон. Среди них и пышнощекая грудастая баба, встреченная утром в лесу.

– Что, товарищ Игнатов, – задорно кричит она, оглядывая Зулейху, – баб-то легче раскулачивать?

Игнатов, не обращая внимания, рысью скачет вперед.

Ворота мужниного дома удаляются, уменьшаются, растворяются в темноте улицы. Зулейха выворачивает шею и смотрит, смотрит на них, не в силах оторваться.

– Зулейха-а-а! – несется оттуда.

В окнах по обеим сторонам улицы – бледные лица соседей с широко раскрытыми глазами.

Вот и околица.

Выехали из Юлбаша.

– Зулейха-а-а! – раздается еле слышный голос.

Санный караван въезжает на холм. Россыпь домов Юлбаша темнеет вдали.

– Зулейха-а-а! – воет ветер в ушах. – Зулейха-а-а!

Она поворачивает голову вперед. С вершины холма раскинувшаяся внизу равнина кажется гигантской белой скатертью, по которой рука Всевышнего разметала бисер деревьев и ленты дорог. Караван с раскулаченными тонкой шелковой нитью тянется за горизонт, над которым торжественно восходит алое солнце.

Часть вторая
Куда?

В дорогу

Хороша баба.

Игнатов едет в голове каравана. Временами останавливается и пропускает отряд вперед, пристально оглядывая каждого – и угрюмых кулаков в санях, и своих раскрасневшихся на морозе молодцов. Затем вновь обгоняет – любит скакать первым. Чтобы впереди – только широкий, зовущий простор и ветер.

На бабу старается не смотреть, чтобы не подумала лишнего. А как не посмотришь, если формы у ней такие, что сами в глаза прыгают?! Сидит как не на коне – на троне. При каждом шаге покачивается в седле, круто изгибая поясницу и подавая обтянутую белым тулупом грудь вперед, будто кивая и приговаривая: да, товарищ Игнатов, да, Ваня, да…

Он привстает на стременах, придирчиво рассматривая протекающий мимо караван из-под козырька ладони, – словно защищая глаза от солнца. На самом деле – прикрывая взгляд, который то и дело непослушно липнет к Настасье. Так ее зовут.

Сани плывут, громко скрипя по снегу. Изредка фыркают лошади, и у заиндевелых морд причудливыми цветами вырастают облачка пара.

Свирепого вида мужик с черной патлатой бородой правит кобылой зло и нервно. За его спиной – закутанная в платок по брови жена, в руках – по кульку-младенцу, и пестрая стайка ребятишек. “Убью!” – кричал мужик, когда пришли к нему в дом, с вилами кидался на Игнатова. Наставили винтовки на жену с детьми – одумался, охолонул. Нет, вилами Игнатова не возьмешь…

Пожилой мулла держит вожжи неумело, вывернув шерстяные рукавицы. Видно: за всю жизнь ничего тяжелее книги в руки не брал. Упругие завитки дорогой каракулевой шубы лоснятся на солнце. Такую шубу до места не довезешь, равнодушно думает Игнатов: снимут – или в распределительном пункте, или еще где в дороге. А нечего наряжаться – не на свадьбу едем… Жена муллы грузной печальной кучей сидит позади. В руках – изящная клетка, укутанная попонкой: любимую кошку с собой взяла. Дура.

Смотреть на следующие сани Игнатову неловко. Казалось бы: ну убил мужика, оставил бабу без мужа. Не раз уже бывало. Тот сам виноват – кинулся с топором как бешеный. Всего-то хотели поначалу дорогу спросить… Но Игнатова не отпускает какое-то противное, сосущее в животе чувство. Жалость? Больно уж мелкая эта баба, тонкая. И лицо бледное, нежное – словно бумажное. Ясно: дорогу не выдержит. С мужем, глядишь, пережила бы, а так… Получается, будто Игнатов не только мужа – и саму ее убил.

Кулачье жалеть начал. Докатился.

Мелкая баба, проезжая мимо, поднимает взгляд. Ох и зелены глазищи-то, мать моя!.. Конь бьет копытом, пританцовывает на месте. Игнатов поворачивается в седле, чтобы получше разглядеть – но сани уже миновали. На задке чернеет полоса – глубокая зарубка от топора, оставленная вчера Игнатовым.

Он смотрит на этот след, а затылком уже чувствует приближение рыжего лохматого коняги, к гриве которого то и дело склоняется пышная, рвущаяся из-под одежд грудь Настасьи, каждым своим движением кричащая на всю равнину: да, Ваня, да, да, да…

Он присмотрел эту Настасью еще на сборах.

Мобилизованные новобранцы обычно собирались утром во дворе, прямо под его окнами: два дня слушали агитационные речи и тренировались с винтовками, на третий – справку в зубы и вперед, в подчинение сотруднику для особых поручений органов ГПУ, на задание. А следующим утром во дворе уже новая партия. Много добровольцев приходило, всем хотелось к правому делу прислониться. Женщины тоже случались, хотя бабы почему-то больше в милицию записывались. И правильно, ГПУ – дело мужское, серьезное.

Взять Настасью, к примеру. Как пришла – вся работа во дворе встала. Новобранцы глаза на нее повыпучивали, шеи посворачивали, как цыплята дохлые, инструктора слушают вполуха. Тот и сам измаялся, вспотел весь, пока ей устройство винтовки объяснял (Игнатову из кабинета хорошо было видно). Кое-как выучили отряд, спровадили на работы, вздохнули с облегчением. А воспоминание о красивой бабе сладким холодком в животе – осталось.

Тем вечером Игнатов не пошел к Илоне. Вроде всем хороша девка – и не слишком молода (уже битая жизнью, не гордая), и не слишком стара (еще приятно смотреть), и телом вышла (подержаться есть за что), и в рот ему глядит, не налюбуется, и комната у нее в коммуналке большая, двенадцать метров. В общем, живи – не хочу. Она ему так и сказала: “Живите со мной, Иван!” А вот получается: не хочу!

Ворочаясь на жесткой общежитской койке, он слушал храп соседей по комнате и размышлял о жизни. Не подлость ли: думать о новой бабе, когда старая еще надеется, ждет его, небось, подушки взбивает? Нет, решил, не подлость. Чувства – они на то и даны, чтобы человек горел. Если нет чувств, ушли – что ж за угли-то держаться?

Игнатов никогда не был бабником. Статный, видный, идейный – женщины обычно сами приглядывались к нему, старались понравиться. Но он ни с кем сходиться не торопился и душой прикипать тоже. Всего-то и было у него этих баб за жизнь – стыдно признаться – по пальцам одной руки перечесть. Все как-то не до того. Записался в восемнадцатом в Красную армию – и поехало: сначала Гражданская, потом басмачей рубил в Средней Азии… До сих пор бы, наверное, по горам шашкой махал, если бы не Бакиев. Он к тому времени в Казани уже большим человеком стал, из долговязого рыжего Мишки превратился в степенного Тохтамыша Мурадовича с солидным бритым черепом и золотым пенсне в нагрудном кармане. Он-то Игнатова и вернул в родную Татарию. Возвращайся, говорит, Ваня, мне свои люди позарез нужны, без тебя – никак. Знал, хитрец, чем взять. Игнатов и купился – примчался домой выручать друга.

Так началась его работа в Казанском ГПУ. Не сказать, чтобы интересная (так, бумажки всякие, собрания, то да се), но что уж теперь вздыхать… Скоро познакомился с машинисткой из конторы на Большой Проломной. У нее были полные покатые плечи и печальное имя –

Илона. Только сейчас, в полные тридцать, Игнатов впервые познал радость долгого общения с одним человеком – он захаживал к Илоне уже целых четыре месяца. Не то что влюблен был, нет. Приятно с ней было, мягко – это да. А чтобы *любить*…

Игнатов не понимал, как можно любить женщину. Любить можно великие вещи: революцию, партию, свою страну. А женщину? Да как вообще можно одним и тем же словом выражать свое отношение к таким разным величинам – словно класть на две чаши весов какую-то бабу и Революцию? Глупость какая-то получается. Даже и Настасья – манкая, звонкая, но ведь все одно – баба. Побыть с ней ночь, две, от силы полгода, потешить свое мужское – и все, довольно. Какая уж это любовь. Так, чувства, костер эмоций. Горит – приятно, перегорит – сдунешь пепел и дальше живешь. Поэтому Игнатов не употреблял в речи слово *любить* – не осквернял.

Утром вдруг вызывает Бакиев. Дождался, говорит, ты, друг Ваня, настоящего задания. Поедешь в деревню с врагами революции воевать, их там еще много осталось. У Игнатова аж сердце захолонуло от радости: опять на коня, опять в бой! В подчинение дали ему пару красноармейцев и отряд мобилизованных. А среди них – в белом тулупе да на рыжем коне – она, она, родимая… Судьба их сводит, не иначе.

Перед отъездом заскочил к Илоне, попрощался сухо. Та, чувствуя холод в его глазах, сразу в слезы: “Вы меня не любите, Иван?” Он рассердился, аж зубами скрипнул: “Любят – мамки детей!” – и вон от нее. А она ему вслед: “Я буду ждать вас, Иван, слышите! Ждать!” Театр устроила, одним словом.

То ли дело – Настасья. Эта не будет заламывать руки и вздыхать. Эта знает, для чего мужикам бабы нужны, а бабам – мужики…

Вот она проезжает мимо: улыбается широко, не стыдясь, глядит прямо в глаза. Острыми зубками стягивает с пухлой ладони рукавицу, треплет нежными пальцами гриву коня, перебирает пряди. Ласкает.

Игнатов чувствует, как внезапные горячие мурашки бегут от затылка к шее и ниже, за шиворот, стекают по позвоночнику. Отводит взгляд, хмурится: не годится красноармейцу на посту о бабах думать. Никуда она от него не денется. И пришпоривает коня, скачет в начало каравана.

Ехали долго. Видели хвосты других караванов, так же медленно и неумолимо тянувшихся по бескрайним холмам когда-то Казанской губернии, а теперь Красной Татарии, к столице – белокаменной Казани. Кому-то, видно, маячил и их хвост, но Игнатов этого не знал – назад смотреть не любил. Изредка проезжали через деревни, и деревенские выносили из домов хлеб, совали в руки понуро сидевшим в санях раскулаченным. Он не запрещал: пусть себе, меньше казенных харчей в Казани съедят.

Остался позади очередной холм (Игнатов уже сбился их считать, бросил). Вдруг – в монотонном скрипе полозьев – громкий крик чернявого Прокопенко: “Товарищ Игнатов! Сюда!”

Игнатов поворачивается: ровная лента каравана разорвана посередине, словно ножом разрезана. Передняя часть продолжает медленно двигаться вперед, а задняя стоит. Темные фигурки конных суетятся в месте разрыва, нервно гарцуют, машут руками.

Подъезжает ближе. Вот она, причина, – сани мелкой бабенки с зелеными глазищами. Впряженная в них лошадь стоит, низко опустив голову, а под брюхом у нее пристроился жеребенок: торопливо сосет материнское вымя, постанывает – проголодался. Задним не проехать – дорога узка, в одни сани.

– Кобыла бастует, – растерянно жалуется Прокопенко, сводит домиком черные брови. – Я уж ее и так, и сяк…

Старательно тянет лошадь за уздцы, но та встряхивает гривой, отфыркивается – не хочет идти.

– Ждать надо, пока не накормит, – тихо говорит женщина в санях.

Вожжи лежат у нее на коленях.

– Ждут мужа домой, – жестко отвечает Игнатов. – А нам – ехать.

Спрыгивает на землю. Достает из кармана шинели припасенные для своего коня хлебные корки, пересыпанные камешками крупной серой соли, сует упрямой лошади. Та шлепает черными блестящими губами – ест. То-то же, смотри у меня… Он гладит длинную, поросшую жесткими серыми волосами морду.

– Ласка – она и лошадь берет, – подъехавшая Настасья широко улыбается, собирая в ямочки полукружия щек.

Игнатов тянет за уздечку: давай, милая. Лошадь дожевывает последнюю корку и строптиво опускает голову к земле: не пойду.

– Ее сейчас не сдвинешь, – подает голос молчаливый Славутский и задумчиво трет длинную нитку шрама на лице. – Пока не накормит – не пойдет.

– Не пойдет, значит… – Игнатов тянет сильнее, затем резко дергает уздечку.

Лошадь жалобно ржет, показывая кривые желтые зубы, бьет копытом. Жеребенок торопливо сосет вымя, кося на Игнатова темными сливами глаз. Игнатов размахивается и наотмашь бьет кобылу ладонью по крупу: пшла! Та ржет громче, мотает головой, стоит. Еще раз по крупу: пшла, говорю! пшла, лешего за ногу! Стоящие рядом кони волнуются, подают настороженные голоса, встают на дыбы.

– Не пойдет, – упрямо повторяет Славутский. – Хоть до смерти забей. Тут такое дело – мать…

Вот заладил, офицерская морда. Десять лет как в Красную армию переметнулся, а образ мыслей все еще не наш, не советский.

– Придется уступить кобыле, а, товарищ Игнатов? – Настасья поднимает бровь, оглаживает шею своего коня, успокаивая.

Игнатов хватает жеребенка сзади за круп и тянет, пытаясь оторвать от вымени. Тот дрыгает ногами, как саранча, и проскакивает у лошади под брюхом – на другую сторону. Игнатов валится спиной в сугроб – жеребенок продолжает есть. Настасья заливисто хохочет, ложась грудью на лохматую холку своего коняги. Славутский смущенно отворачивается.

Игнатов, чертыхаясь, поднимается на ноги, отряхивает снег со шлема, с шинели, с шаровар. Взмахивает рукой ушедшим вперед саням:

– Сто-о-ой!

И вот уже конные скачут вдогонку голове отряда: сто-о-ой! До команды – отдыха-а-ай!

Игнатов снимает буденовку, вытирает раскрасневшееся лицо, зыркает на Зулейху сердито.

– Даже кобылы у вас – сплошная контрреволюция!

Караван отдыхает, дожидаясь, пока полуторамесячный жеребенок напьется материнского молока.

Когда на поля упал густо-синий вечер, до Казани еще оставалось полдня ходу. Пришлось заночевать в соседнем кантоне.

Местный председатель сельсовета Денисов – коренастый мужик с крепкой походкой опытного моряка – принял их тепло, даже радушно.

– Гостиницу вам организую – по высшему разряду. “Астория”! Да что там, бери выше – “Англетер”! – пообещал он, щедро обнажая в улыбке крупные зубы.

И вот уже – бараны оглушительно блеют, толкаются, вскакивают друг на друга, тряся вислыми ушами и лягаясь тонкими черными ногами. Денисов, растопырив ладони, сгоняет всех в загон – за длинную ситцевую занавеску, разделяющую пространство на две половины. Последний юркий ягненок все еще носится, дробно стуча копытцами, по деревянному полу. Председатель хватает наконец его за кучерявую шкирку и швыряет к остальным; довольно озирается, пинает сапогом пахучие бараньи катышки, гостеприимно распахивает руки (в проеме ворота сверкают полоски тельняшки):

– А я что говорил?!

Игнатов задирает голову – осматривается. Яркий свет керосинки освещает высокий деревянный потолок. Длинные узкие окна – хороводом по круглому куполу. На темных, смолой запекшихся стенах – мелкие волны полустершихся арабских надписей. Пещерами зияют ниши, в которых едва заметными светлыми квадратами мерцают следы от недавно снятых ляухэ.

Сначала Игнатов не хотел ночевать в бывшей мечети – ну его к лешему, этот очаг мракобесия. А теперь вот думается: и правда, почему бы и нет? Молодец Денисов, соображает. Что зданию зря простаивать?

– Места всем хватит, – продолжает нахваливать председатель, задергивая пеструю чаршау. – Баранам на женской половине, людям – на мужской. Пережиток, конечно. Но удобно – факт! Хотели сначала убрать занавеску, а потом решили оставить. У нас тут, считай, что ни вечер – то гости.

Мечеть передали колхозу недавно. Даже острый запах бараньего навоза не мог перебить ее особого, еще сохранившегося по углам аромата – не то старых ковров, не то запыленных книг.

У входа сгрудились озябшие переселенцы, испуганно пялятся на занавеску, за которой все еще ревут и толкаются бараны.

– Располагайтесь, граждане раскулаченные, – Денисов открывает заслонку печи, подкидывает несколько поленьев. – У меня колхозницы тоже поначалу боялись на мужскую половину заходить, – заговорщически шепчет Игнатову. – Грех, говорят. А потом ничего – привыкли.

Мулла в каракуле первым входит в мечеть. Идет к высокой нише михраба, встает на колени. Несколько мужчин проходят следом. Женщины по-прежнему толпятся у порога.

– Гражданочки! – весело кричит председатель от печки, и золотые блестки огня сверкают в его темных зрачках. – Вот бараны – не боятся. Берите пример с них.

Из-за занавески несется в ответ пронзительное блеяние.

Мулла встает с колен. Поворачивается к переселенцам и делает ладонями приглашающий знак. Люди несмело входят, рассыпаются вдоль стен.

Прокопенко, присев у груды хлама в углу, раскопал там книгу и ковыряет ногтем красивый матерчатый переплет, украшенный металлическими узорами, – к знаниям тянется.

– Книги прошу не брать, – замечает председатель. – Уж больно для растопки хороши.

– Ничего не тронем, – Игнатов сурово смотрит на Прокопенко, и тот бросает книгу обратно в кучу, равнодушно дергает плечом: не больно-то и хотелось.

– Слышь, уполномоченный, – Денисов поворачивается к Игнатову, – а солдатики твои барашка на ужин не уведут? У меня что ни караван с раскулаченными, так утром – недостача. За январь-то уже полстада – тю! Факт.

– Колхозное добро! Как можно?!

– Ну ладно… – Денисов улыбается и шутливо грозит Игнатову крепким узловатым пальцем в черных пятнах мозолей. – А то ведь порой за всем и не усмотришь…

Игнатов успокаивающе хлопает Денисова по плечу: не дрейфь, товарищ! Надо же: бывший питерский моряк (балтиец!) и ленинградский рабочий (ударник!), теперь вот двадцатипятитысячник (романтик!) приехал по зову партии поднимать советскую деревню, – словом, наш человек по всем статьям, – а так плохо думать о своих…

Настасья тягучим, ленивым шагом идет по мечети, разглядывая жмущихся по углам переселенцев. Стягивает с головы лохматую папаху, и тяжелая пшеничная коса льется по спине к ногам. Женщины охают (в мечети, при мужчинах, при живом мулле – с непокрытой головой!), зажимают ладонями глаза ребятишкам. Настасья подходит к разжарившейся печи и забрасывает на нее тулуп. Складки на гимнастерке тугими струнами тянутся от высоко стоящей груди под широкий ремень, схваченный на поясе так крепко, что кажется, вот-вот – зазвенит и лопнет.

– Здесь детей положим, – говорит Игнатов, не глядя на нее. “Опять жалею?” – подумалось зло. Тут же успокоил себя: хоть и кулацкие, а все ж – дети.

– Ой замерзну, – весело вздыхает та и забирает тулуп.

– Давай-ка я тебе сена организую, раскрасавица, – подмигивает ей Денисов.

Ребятня, с возней и сдавленными криками, кое-как размещается на широкой печи: кто сверху, кто рядом. Матери ложатся на полу вокруг, широким плотным кольцом. Остальные ищут себе местечки вдоль стен – на завалявшейся в углу ветоши, на обломках книжных шкафов и лавок.

Зулейха находит полуобгоревший ошметок ковра и устраивается на нем, привалившись спиной к стене. Мысли в голове до сих пор – тяжелые, неповоротливые, как хлебное тесто. Глаза – видят, но будто сквозь завесу. Уши – слышат, но как издалека. Тело – двигается, дышит, но словно не свое.

Весь день она думала о том, что предсказание Упырихи сбылось. Но – каким страшным образом! Три огненных фэрэштэ – три красноордынца – увезли ее с мужниного двора в колеснице, а старуха осталась со своим обожаемым сыном в доме. То, чему Упыриха так радовалась и чего так хотела, свершилось. Догадается ли Мансурка похоронить Муртазу рядом с дочерьми? А Упыриху? В том, что старуха после смерти сына долго не протянет, Зулейха не сомневалась. Аллах Всемогущий, на все твоя воля.

Впервые в жизни она сидит в мечети, да еще на главной – мужской – половине, недалеко от михраба. Видно, и на это есть воля Всевышнего.

Мужья пускали женщин в мечеть неохотно, лишь по большим праздникам: на Уразу и на Курбан. Муртаза каждую пятницу, крепко попарившись в бане, румяный, с тщательно расчесанной бородой, спешил в юлбашскую мечеть на большой намаз, положив на выбритый до розового блеска череп зеленый бархатный тюбетей. Женская половина – в углу мечети, за плотной чаршау – по пятницам обычно пустовала. Мулла-хазрэт наказывал мужьям передавать содержание пятничных бесед оставшимся дома на хозяйстве женам, чтобы те не сбивались с пути и укреплялись в истинной вере. Муртаза послушно выполнял наказ: придя домой и усевшись на сяке, дожидался, пока на женской половине стихнет шорох мукомолки или лязганье посуды, и бросал через занавеску свое неизменное: “Был в мечети. Видел муллу”. Зулейха каждую пятницу ждала эту фразу, ведь она означала гораздо больше, чем ее отдельные слова: все в этом мире идет своим чередом, порядок вещей – незыблем.

Завтра – пятница. Завтра Муртаза не пойдет в мечеть.

Зулейха находит взглядом муллу-хазрэта. Тот продолжает молиться, сидя лицом к михрабу.

– Дежурным занять посты, – командует Игнатов. – Остальным – спать.

– А если не хочется, товарищ Игнатов? – полногрудая баба, так бесстыже обнажившая голову в храме, раздобыла охапку сена и стоит, обнимая ее.

– На заре – подъем, – сухо отвечает тот, и Зулейхе отчего-то приятно, что командир так строг с бесстыдницей.

Баба громко вздыхает, еще выше поднимая и без того торчащую вперед грудь, бросает охапку на пол недалеко от Зулейхи.

Дежурные устраиваются у входа на перевернутом книжном шкафу, бодро сверкая штыками в полутьме. “От зорьки и до зорьки моряки на вахте зорки!” – козыряет им на прощание председатель, желает спокойной ночи переселенцам и баранам. Игнатов дает знак – и керосинка втягивает оранжевый язычок, лишь кончик фитиля тлеет в темноте едва заметно.

Зулейха нащупывает в кармане хлеб, отламывает кусок, жует.

– Куда ты везешь нас, комиссар? – раздается в темноте звучный, нараспев, голос муллы.

– Куда партия послала – туда и везу, – так же громко отвечает Игнатов.

– Куда же послала нас твоя партия?

– Спроси у всезнающего Аллаха, пусть шепнет тебе на ушко.

– Дорогу выдержат не все. На смерть везешь, комиссар.

– А ты постарайся выжить. Или попроси у Аллаха быстрой смерти, чтоб не мучиться.

Переселенцы возбужденно перешептываются: куда? куда? – Неужели в Сибирь? – А куда ж еще? Ссылали – всегда туда. – А далеко ли это? – Сказал же мулла-хазрэт: так далеко, что дорогу не выдержать. – И Алла! Лишь бы доехать. – Верно. Кто доедет – выживет…

Дежурные звонко лязгают винтовками, заряжая их перед сном. Шорох голосов стихает. Печное тепло расползается по мечети, веки наливаются усталостью, смыкаются – Зулейха засыпает. Жена муллы, выпустив из клетки любимую серую кошку, кормит ее с руки, роняя крупные слезы на мягкую полосатую спинку.

– Зулейха-а-а! – голос Упырихи слышится издалека, словно из подпола. – Зулейха-а-а!

Сейчас, лечу, мама, лечу…

Зулейха открывает глаза. Вокруг, в густом полумраке, едва разведенном дрожащим керосиновым светом, спят переселенцы. Потрескивает огонь в печи, изредка сонно взблеивают в закутке бараны. Дежурные сладко дремлют, прислонясь к стене и свесив головы на опустившиеся плечи.

Уф, показалось.

И вдруг громкий шорох – совсем близко. Прерывистый шепот – мужской или женский? – горячий, быстрый, путаный, смешанный с громким частым дыханием: на том месте, где вчера устроилась на охапке сена бесстыжая баба, темнота дрожит, волнуется, дышит. Движется – сначала медленно, затем быстрее, резче, стремительнее. Уже и не темнота – два тела, укутанные тенью. Что-то вздрагивает, всхрипывает, выдыхает глубоко и долго. И – сдавленный женский смех: “Погоди ты, бешеный, загнал совсем”. Голос знакомый – это она, пышнощекая срамница. Зулейха, кажется, видит во тьме желтые волосы, рассыпавшиеся тяжелым снопом. Та дышит широко раскрытым ртом, с облегчением, громко – словно не боясь быть услышанной. Склоняет голову на чью-то грудь, и оба замирают, затихают.

Зулейха напрягает зрение, пытаясь рассмотреть лицо мужчины. И различает два глаза, глядящие из темноты: он давно и внимательно смотрит на нее – Игнатов.

– Салахатдин! – вдруг раздается где-то в глубине мечети истошный крик. – Муж мой!

Резко вспыхивает керосинка. Люди вскакивают, озираются, плачет спросонья ребенок, мявкает кошка под чьим-то нечаянным сапогом.

– Салахатдин! – продолжает кричать жена муллы.

Игнатов, чертыхаясь, высвобождается из сети Настасьиных русалочьих волос, торопливо застегивает ремень, на ходу натягивает сапоги. Бежит туда, где уже сгрудились плотной кучкой переселенцы.

Люди расступаются. На полу, устремив седую голову к михрабу и вытянув длинные ноги из-под кудрявой шубы, лежит мулла-хазрэт. Рядом на коленях, лбом в пол – рыдает его огромная жена. Открытые глаза муллы застыли и смотрят вверх, скулы обтянуло кожей, бегущие от носа к подбородку морщины сложили губы в бледную сухую улыбку. Игнатов поднимает взгляд. В узких оконцах – жидкий голубой свет. Утро.

– Всем собираться, – говорит он застывшим лицам вокруг. – Выезжаем.

И идет к выходу.

Настасья провожает его взглядом, сидя на охапке сена и заплетая распущенные волосы в толстую пшеничную косу.

Собрались быстро. Тело муллы было решено оставить в кантоне для захоронения. Шубу – Игнатов настоял – опухшая от слез жена хазрэта накинула на себя. Дети помогли поймать спрятавшуюся от страха за печкой кошку и усадить обратно в клетку.

Когда Зулейха уже сидела на месте возницы, держа наготове вожжи, – ждали команды на выезд, – к ней, озираясь, подскочил чернявый и торопливо закинул в сани что-то тяжелое, белое, лохматое – ягненка. Накрыл мешковиной и прижал кривой палец к губам: тс-с-с…

Громко, на весь двор, раздается: поехали! Отфыркиваются кони, перекрикиваются конвоиры. И сани, как медленный косяк крупных рыб, тянутся со двора.

Улыбающийся председатель Денисов стоит у ворот, провожает.

– Ну, – говорит ему Игнатов дружески, крепко жмет жесткую, как подошва, ладонь, – держись, брат!

– Слышь, Игнатов, – тот немного смущенно ведет бровями, понижает голос. – А как считаешь – если на мечети красный флаг повесить?

Игнатов оглядывает высокую башню минарета с острой, в небо уткнувшейся вершиной, на которой темнеет жестяная загогулина полумесяца.

– Издалека будет видно, – одобряет он. – Красиво!

– Все-таки – здание культа. Винегрет какой-то получается.

– В голове у тебя винегрет, – похлопывает по шее нетерпеливо танцующего коня Игнатов. – А это – настоящий колхозный хлев. Понял, ударник?

Тот улыбается, машет рукой: как не понять!

Игнатов пропускает перед собой последние сани, окидывает взглядом опустевший двор и скачет вслед за караваном, брызжа из-под копыт звонким утренним снегом.

Когда деревня остается далеко позади, Зулейха оборачивается. Над тонкой свечкой мечети уже вьется горячим огоньком красный флаг.

Председатель сельсовета Денисов отработает в деревне еще полгода. К весне он организует колхоз и хорошо, на совесть, поднимет процент коллективизации во вверенном ему населенном пункте.

Бороться с религией будет от всей души, по-балтийски: во время священного месяца Рамазан организует агитационные шествия вокруг мечети, самолично выступит оппонентом трех служителей культа на публичном диспуте “Нужна ли религиозность в советском обществе?”, соберет и сожжет все деревенские кораны.

Венцом его карьеры на селе станет добыча трактора “Коммунар” для своего колхоза – на зависть всем пока еще безмашинным соседним деревням кантона. Трактор станет самым ценным и самым охраняемым объектом денисовского хозяйства.

Он выступит с новаторской инициативой: переименовать языческий праздник Сабантуй – Праздник Плуга, отмечаемый в татарских селах в конце весны, – в Трактор-туй. Инициативу поддержат в центре; на торжество приедет делегация ЦИК из самой Казани и десант газетных корреспондентов. Однако праздник сорвется из-за неисправности самого трактора. Позже выяснится, что местная старушка-абыстай из добрых побуждений решила задобрить духа трактора и тайно скормила мотору некоторое количество яиц и хлеба, что и послужило причиной поломки. Недовольные товарищи из ЦИК и корреспонденты уедут в Казань ни с чем, а карьера Денисова стремительно пойдет на спад.

Его отзовут из деревни и отправят домой. По возвращении в Ленинград он найдет свою комнату в коммуналке намертво занятой расплодившимися соседями. В отчаянной затяжной борьбе с управдомами за жилплощадь начнет прикладываться к бутылке, и через пару лет его выселят из общежития за пьянство. В тридцать третьем году, во время паспортизации, Денисова как лицо без прописки и просто запойного пьяницу вышлют из Ленинграда – сначала за 101*-й километр, затем в Усть-Цильму, а потом и вовсе – под Душкачан, где его след навсегда затеряется среди прибайкальских сопок.*

Кофе

Кто ж не любит кофе из маленьких фарфоровых чашек?!

Вольф Карлович прячет лицо под одеяло, продолжая ощущать на лбу горячее прикосновение солнечного луча. Еще пара мгновений, и – вставать. Дела не ждут.

Скоро в кабинет шумно ворвется Груня, неся на старательно вытянутых руках поднос с крошечной дымящейся чашкой. С утра – только кофе и маленький ломтик шоколада, никакой еды, от нее тяжелеют мысли и члены. Сам он встанет и широким движением распахнет портьеру, позволяя солнечному свету залить комнату. Груня придирчивым взглядом окинет висящий наготове синий мундир, осторожно снимет с рукава несуществующую пылинку (ее застенчивое преклонение перед его форменным профессорским облачением с годами становится все сильнее). И покатится новый день: лекции, экзамены, тысячи возбужденных студенческих лиц…

Вольф Карлович энергичным взмахом посылает одеяло на пол, пальцы ног нащупывают гладкую прохладную кожу домашних туфель. Портьера, шурша, отлетает в сторону и открывает знакомый с детства вид. Эркер в три высоких окна – как огромный живой триптих, в котором вот уже много лет зеленеют, цветут, облетают, покрываются инеем и снова цветут, отражаясь в зеркале Черного озера, старые ветвистые липы.

Сейчас стекла покрыты тонкими морозными росписями. *Januar*, как сказал бы отец, посылая ежеутренний величественный взгляд за окно, словно по-дружески здороваясь с зимним месяцем.

Раньше это был кабинет отца, и маленькому Вольфу не разрешалось бывать в нем. Тайком он пробирался сюда и, забравшись за складки портьеры, расплющивал нос о холодное стекло – любовался озером.

Теперь здесь работает он сам. Даже спать предпочитает тут же, на жестком диване у старинного отцовского секретера. На столе приготовлены перо и бумага – хорошие мысли имеют обыкновение прилетать по ночам. Он уже и забыл, когда последний раз ночевал в спальне. Наверное, это было еще до начала ремонта.

Ремонтом заведовала Груня, как и всем, что происходило в старой профессорской квартире. Большая, шумная, коса вокруг головы – толщиной с руку, а сами руки – толщиной с ногу, Груня тяжелой солдатской поступью вошла в этот дом двадцать лет назад, и Вольф Карлович мгновенно капитулировал, с безропотной радостью отдал ей бразды правления своим невеликим хозяйством, чтобы с головой погрузиться в упоительный мир загадок человеческого тела.

Профессор Казанского университета в третьем поколении, Вольф Карлович Лейбе был практикующим хирургом. Практика его была обширна, люди дожидались очереди на операцию месяцами. Каждый раз, занося скальпель над мягким бледным телом пациента, он ощущал прохладный трепет в самой глубине живота: *имею ли право?* Нож касался кожи – и холодок превращался в тепло, разливался по членам: *не имею права не попытаться.* И пытался: вел мысленный диалог с кожными покровами, мышечными и соединительными тканями, через которые пробирался к цели, уважительно приветствовал внутренние органы, шептался с сосудами. Он *разговаривал* с телами больных посредством скальпеля. И тела отвечали ему. О своих

диалогах никому не рассказывал – со стороны это могло показаться похожим на душевную болезнь.

И вторая тайна была у Вольфа Карловича: его донельзя, до зуда в кончиках пальцев, волновала тайна человеческого рождения.

По молодости, упоенный лекциями легендарного профессора Феноменова, он даже хотел остаться работать на кафедре акушерства и женских болезней. Отец отговорил ("Всю жизнь – у крестьянок роды принимать?"). Юный Вольф покорился – ушел на кафедру благородной хирургии.

Уже став хирургом и препарируя в анатомическом театре никем не востребованные тела нищих и проституток, доставленные из полицейского участка в качестве учебных трупов, он иногда обнаруживал в женском чреве маленький плод. Эти находки каждый раз приводили его в состояние смутного волнения. Мелькала нелепая мысль: а вдруг этот крошечный зверок с морщинистой мордочкой и карикатурно мелкими конечностями – жив?

Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae, гласила надпись над круглым зданием университетского анатомического театра. *Это место, где смерть с радостью помогает жизни.* Так оно и было. Нерож-денные младенцы в утробах зарезанных из ревности сонечек и случайно убитых в бандитских перестрелках мусечек жаждали открыть Вольфу Карловичу свои маленькие тайны – их тонкие голоса постоянно роились в голове, шептали, бормотали, иногда кричали.

И он сдался. В тысяча девятисотом году, на рубеже веков, в возрасте двадцати пяти лет провел свою первую гистеротомию. К тому времени на его счету было уже несколько десятков чревосечений, и эта новая операция – *кесарево сечение* – не была для него чем-то особенно сложна. Но совершенно особенным было чувство после: одно дело – вырезать из чрева больного скользкий кровавый шмат опухоли и швырнуть его в таз; совсем другое – достать живого, трепещущего младенца.

Операция прошла блестяще. Затем – еще одна, и еще. Слава о молодом хирурге "от Бога" полетела по Казанской губернии. Так он и жил: клинической хирургией занимался для отца, гинекологией (немного смущаясь и не афишируя) – для себя.

Кстати, когда он последний раз оперировал? Вольф Карлович задумывается. Казалось бы – совсем недавно, а вспомнить точную дату или предмет операции – затруднительно. Преподавание отнимает так много сил и времени, что некоторые события стираются из памяти. Надо будет спросить у Груни.

Вольф Карлович берет с подоконника лейку и поливает свою пальму. Это единственное, что Груне не разрешается делать в доме. Этот полив – особый ритуал: когда профессор поит свою пальму, он успокаивается. Огромное дерево с блестящими мясистыми листьями в деревянной кадушке на полу – его полный ровесник. В день его рождения, пятьдесят пять лет назад, отец посадил в кадку косточку и забыл о ней – а через месяц с удивлением обнаружил упрямый коренастый росток. Пальма росла и постепенно превратилась в высокое мощное дерево, правда, ни разу не цветшее. День, когда оно зацветет, станет для Вольфа Карловича праздником.

С треском распахивается дверь – в комнату врывается Груня: шумно и неумолимо, как летящий по рельсам паровоз. "Доброе утро", – произносят ее пухлые, тронутые яркой помадой губы. Значит, утро и вправду – доброе. Как и день впереди.

Комнату наполняет запах гречневой каши с луком.

Груня ставит на краешек стола серебряный поднос с маленькой фарфоровой чашкой.

– Пожалуйста, попросите рабочих начать свой бедлам попозже, – Вольф Карлович просительно улыбается, стоя у пальмы. – Хочу поработать в тишине.

Груня молча кивает высокой прической из толстых, корабельными канатами перевитых кос.

– И когда же… – Вольф Карлович заботливо перебирает гладкие прохладные листья, – …когда же закончится этот бесконечный ремонт?

– Скоро, – произносит Груня низким голосом, направляясь к выходу. – Недолго ждать осталось.

– И еще. Груня…

Та останавливается у двери, оборачивается.

– Вы не вспомните: когда я последний раз оперировал? Как-то вылетело из головы…

Груня собирает в складки низкий лоб.

– Вам зачем?

Вольф Карлович жмется под ее грозным взглядом.

– Чувствую себя неуютно, когда не могу вспомнить такой простой факт своей биографии.

– Пойду вспоминать, – Груня решительно кивает, словно бодает воздух перед собой, и выходит.

Через приоткрывшуюся дверь в комнату доносятся бряцание посуды, возбужденные женские голоса и детский плач.

– Я же просил тишины! – Вольф Карлович мученически прикладывает ладонь ко лбу.

Груня идет на кухню за завтраком для себя и Степана.

Три огромных окна без штор. Веревки с бельем разделяют пространство на два неровных треугольника. Шесть столов – хороводом, по стенкам. Шесть керосинок – на столах. Шесть пузатых комодов. Вообще-то комнат в квартире семь, но у Вольфа Карловича нет своего стола. Ну и керосинки, значит, тоже нет.

Завидев Груню, что-то горячо обсуждавшие женщины притихают, разбредаются по своим углам. Становится отчетливо слышно, как у кого-то на сковороде шкворчит яичница. Груня берется рукой за бельевую веревку и сдвигает по ней тщательно развешанные простыни, сминает их в гармошку.

– Говорила: мою половину не занимать, – произносит в потолок.

– Так у тебя ж сегодня нет стирки, – одна из женщин упирает в бока руки с закатанными рукавами.

Груня молча развязывает на поясе тряпичный фартук и вешает его на освобожденную веревку: теперь есть! Потом отпирает буфет, достает хлеб, вновь запирает на ключ. Снимает со своей керосинки кастрюлю с кашей и идет к выходу. Женщины провожают ее глазами. Клокочет вода в тазу с кипящим бельем. Шипит, убегая, молоко.

В коридоре темно: газовые рожки не работают уже лет десять. Шкафы и сундуки перегородили некогда широкий коридор – не пройти. Вот она, коммунальная жизнь: темнота, теснота и запах жареного лука. То ли дело раньше…

Груня толкает могучим задом дверь и входит к себе.

– Что так долго? – Степан за столом в одной майке ковыряется отверткой в большом амбарном замке. Его руки – в блестящих черных пятнах масла.

– Он хочет вспомнить, когда последний раз оперировал. – Груня ставит кастрюлю на стол и задумчиво разглядывает узор на скатерти.

Степан кладет отвертку и берет замок в руки. Клац! – и дужка хищно защелкивается. Берет лежащий рядом ключ, вставляет, проворачивает с ладным механическим звуком – дужка замка послушно открывается.

– Готово, – он обнажает в улыбке прокуренные, хороводом пляшущие во рту зубы.

– Он хочет вспомнить, когда последний раз оперировал, – громче повторяет Груня. – А вдруг он захочет вспомнить что-то еще?

– Думаешь, это так просто: захотел – и вспомнил? Десять лет не помнил, а потом захотел – и нате? – Степан вытирает руки о майку, отламывает хлеб и начинает жевать.

– Откуда я знаю?! – Груня достает половник и швыряет в тарелку ком плотной дымящейся каши.

– Ты когда письмо отправила? – Степан ест исходящую паром гречу большими ложками, не обжигаясь.

– С месяц уже.

– Значит, придут скоро. Недолго ждать осталось. Там тоже люди работают, им разобраться время нужно. – Степан мизинцем достает застрявшую в недрах верхней челюсти крупинку, обтирает палец о скатерть. – Наше дело – не пропустить… Во! – он встает из-за стола, потрясает в воздухе тяжелым замком и вешает его на гвоздь у двери. – Они всё опечатают, а ты сразу: шасть! – и поверх бумажки – замок. Если кто спросит – скажешь, управдом велел.

Груня, сидя на табуретке, мелко трясет головой – соглашается.

– Управдом-то – не передумает? – она исподлобья глядит, как Степан садится обратно за стол и продолжает работать ложкой; по плечам буграми катаются мускулы.

– Не боись. – Степан широко улыбается, в щелях между зубами – темные пятна гречки. – Со мной – ничего не боись! Будешь по утрам кофий пить: в прохвессорской комнате, из прохвессорских чашек.

Ее мясистые губы вздрагивают в смущенной улыбке, потом опять тревожно приоткрываются:

– А все-таки жалко мне его. Такой человек был…

Степан тщательно вылизывает ложку. Потом подходит к Груне сзади и кладет жилистые руки на ее круглые плечи. Пышная грудь под тонким застиранным ситцем вздрагивает и медленно поднимается в глубоком вдохе, как дрожжевое тесто на печи.

– Чего жалеть-то? – одними губами шепчет Степан Груне в ухо. – Был, да закончился.

От Степана идет сильный мужской дух, смешанный с запахом гречки и машинного масла. Груня сжимает пальцы на коленях – ткань платья морщится.

– Ты свое отработала. За двадцать-то лет… Заслужила. И так уже: кормишь его, поишь, обстирываешь. Заметь – бесплатно. Подумаешь, работала на него когда-то. Подумаешь, важная была птица. Без тебя бы давно уже помер твой прохвессор. Так что пусть спасибо тебе скажет, что жив.

Ладони Степана – тисками на Груниных плечах. Слышно, как тикают на стене ходики.

– А мы с тобой потом, глядишь, – и еще расширимся. Что нам, всю жизнь в двух комнатенках ютиться?

Она закрывает глаза и прижимается ухом к жесткой волосатой руке. Его пальцы двигаются к основанию шеи и дальше – к разрезу платья.

– Ну-ка, Грушенька, – шепчет он тихо. – Ну-ка, яблонька моя…

Пронзительно верещит колокольчик у входной двери. Один раз – это к профессору. Последний раз к нему приходили лет пять или шесть назад, какой-то худой старичок проездом из Москвы в Сибирь (звал профессора преподавать в Томск, но Лейбе отказался).

Груня вскакивает. Встречается глазами с напряженным взглядом Степана, прижимает руку ко рту: неужели *они?* Степан сердито ведет подбородком: открывай, чего застыла. Она бежит в коридор, на ходу вдевая в петли расстегнувшиеся пуговицы на вороте платья. Спиною чувствует тяжелый взгляд Степана, бьющий в затылок из приоткрытой двери. Долго гремит замками и цепочками, наконец пальцы справляются с волнением. Груня прерывисто выдыхает и толкает рукой тяжелую входную дверь.

Илона стоит, переминаясь на каблучках-рюмочках и пониже опустив на глаза краешек шляпки. Стыдно, Бог мой, как стыдно…

Женщина-гора открывает дверь. Дышит глубоко и грозно, как дракон. Смотрит на Илону бусинками глаз, молчит.

– Мне – к профессору Лейбе, – беспомощно выдыхает Илона.

Женщина-гора бодает подбородком воздух, указывая на белую дверь в полутьме коридора. Но с места не сходит – стоит, загораживая проход. Илона прижимает к груди плоскую сумочку, как щит, и, обмирая от щедрого горячего запаха лука и каши, идущего от женщины, бочком просачивается в квартиру. Хочет нырнуть за белую дверь, но грозная хранительница порога перекрывает рукой проход. “Доложу”, – басом, с ненавистью сообщает она и уходит в комнату. Илона остается одна в душных коричневых сумерках прихожей.

Где-то далеко впереди – светлый прямоугольник хода на кухню, откуда несет стиркой и обедом, слышатся гул женских голосов, детский смех и дребезжание велосипедного звонка. Вдоль коридора – высокие, в чешуйках полуоблетевшей белой краски, еле различимые во тьме комнатные двери. Илоне кажется, что за ними кто-то прячется – наблюдает. И когда профессорская дверь наконец распахивается и низким голосом дородной женщины приглашает войти, она юркает туда с благодарным облегчением.

“Вольф Карлович Лейбе, проф. мед. по жен., светило!” Именно такую запись Илона обнаружила в дневнике своей матери, разбирая ее вещи после похорон. Слово “светило” было подчеркнуто дважды. Краснея от догадок, зачем матери понадобился “проф. мед. по жен.”, она убрала рассыпающийся на листки блокнот на антресоль. Вспомнила лишь через несколько лет, привычно ворочаясь без сна на кровати, остывающей после ухода Ивана, и мучаясь догадками: почему, дожив до двадцати пяти лет, она еще ни разу не?.. Как бы это сформулировать, соблюдая приличия…

Ее подруги жили насыщенной комсомольской жизнью: влюблялись, заводили ухажеров (комсомольцев и партийцев, в крайнем случае – ударников труда), меняли их, выходили замуж и разводились, сбивались со счета абортам. Некоторые – даже рожали маленьких, розовых, противными голосами кричащих детей.

Илона наблюдала все эти водовороты и хитросплетения женских судеб со стороны, в перерывах между стучанием по клавишам старого доброго ундервуда, за махиной которого она ловко и незаметно пряталась от жизни в мелкой конторе.

Ухажеров было мало, замуж не звали. Нет, почему же мало? Были, конечно. И счастье женское ей дарили – как и сколько могли. Она жадно пила это счастье до капли. Но не беременела (какое ужасное слово!). Ее лоно было бездонным сосудом, принимавшим все, что в него попадало, но ничего не могущим дать этому миру. Милиционер Федорчук, обаятельный крепыш – смуглый, кудрявый, черноглазый и – бесповоротно женатый; счетовод Зельдович, рано полысевший и поседевший, любивший спать, уткнувшись ей в грудь; студент-химик со смешной фамилией Обида и следами вечной ипохондрии на лице… Все они проплывали через ее железную кровать с блестящими шариками в изголовье и через ее жизнь, не оставляя следа. И это ничуть ее не заботило.

Как вдруг – Иван. Ваня.

Каким шальным ветром занесло этого высокого, плечистого, с надменным взглядом и строгой выправкой красавца в ее пыльную, надежно защищенную пишущей машинкой жизнь? Илона схватилась за него – цепко, во всю силу бледных, изможденных в постоянных боях с клавишами пальцев. В синематографе хохотала, высоко закидывая голову; пламенея от стыда, надевала на вечернюю прогулку мамину шифоновую блузку, прозрачную в ярком свете;

ночами старалась быть страстной и неутомимой; пришила две пуговицы к его гимнастерке и даже освоила бабушкин рецепт приготовления воскресных оладушков.

В пылу недавней ссоры он бросил ей в лицо какие-то малопонятные слова про любовь к детям – как по щеке хлестнул. Неужели этот строгий военный с холодными серыми глазами хочет семейного уюта, хочет детей?

Мамин фотоснимок на комоде смотрел неумолимо: не сдавайся! Илона разыскала заброшенный в пыльную бездну антресолей блокнот, дрожащим от волнения пальцем нашла в складках пожелтевших страниц заветный адрес и отправилась к “проф. мед. по жен.”. Ваня хочет детей – она их ему родит. Если сможет, конечно.

Светило могло за прошедшие годы закрыть практику, сменить адрес, да и просто – состариться и умереть. Но – какое огромное, невероятное счастье! – по-прежнему жило здесь, охраняемое цепным псом – гороподобной женщиной со взглядом голодной медведицы.

И вот робко потупившаяся Илона уже стоит посреди комнаты, а чудаковатый профессор спешит ей навстречу – полы стеганого атласного халата развеваются, лохматые кудри полукругом – подумалось: нимбом! – вокруг высокого блестящего лба, переходящего в такой же гладкий затылок. Припадает губами к ее мгновенно и густо краснеющей от смущения руке (пальцы Илоне еще никто и никогда не целовал, даже любвеобильный милиционер Федорчук, да еще так запросто, при посторонних).

– Спасибо, Груня, – нараспев говорит профессор.

Женщина-медведица разочарованно выпускает воздух из объемной груди, медленно разворачивается и выносит свое грузное тело из комнаты.

Профессор любезно указует сухонькой ладошкой на стул с гнутыми деревянными ножками и лакированными подлокотниками, напоминающими эклеры из кондитерской Горзина. Илона, все еще не смея поднять утяжеленные черной тушью ресницы, приседает на краешек обитого цветочным атласом сиденья. Что-то маленькое, острое вонзается в основание ноги: гвоздь? Она решает не подавать виду и терпеть.

– Простите мне мой затрапезный вид, – журчит голос Лейбе. – Обычно я принимаю после обеда. Но раз уж вы пришли – чему я рад, искренне рад! – побеседуем сейчас о вашем… м-м-м… вопросе.

Стыдно, Боже, как стыдно… Илона сглатывает комок слюны и поднимает глаза. Светило уютно устраивается за большим письменным столом, кладет руки на светло-серый бархат столешницы:

– Слушаю вас самым внимательным образом.

Нежно-голубые глаза профессора ласковы. Из-под распахнувшегося халата на груди видна впадина, от которой солнечными лучами расходятся в стороны тонкие ребра. Илона опускает взгляд. Светилу позволено многое, даже иметь странности и принимать пациентов в таком экстравагантном виде.

– М-м-м? – подбадривает Лейбе.

– Мне нужно завести ребенка, – выдыхает она. – Во что бы то ни стало.

Профессор берет со стоящего на столе подноса серебряную ложку и задумчиво постукивает по чашке – по изящной кофейной чашечке молочно-белого фарфора, тонкой, с плавно изогнутыми боками и кокетливой ручкой. Звон получается неожиданно глухой и дешевый: ляц-ляц… ляц-ляц…

– Как давно вы этого хотите?

– Хочу не так давно… Но могла бы уже давно… То есть чисто теоретически… Впрочем, и практически тоже… – окончательно запутывается Илона и упирается подбородком в наглаженные рюши на груди. – Семь лет.

– Итак, на протяжении семи лет вы состоите в отношениях с мужчинами, но ни одного раза не были беременны. Это вы хотели сказать?

Илона глубже всаживает голову в плечи: да, именно это. Гвоздь в обивке стула колет ногу сильно, настойчиво. Ерзать Илона боится – вдруг порвется платье?

– Что ж, необходимо осмотреть вас для начала, заполнить медицинский опросник. После этого станет понятно, смогу ли я помочь. Или хотя бы попытаться помочь.

– Я готова к осмотру, – шепчет Илона рюшам на груди.

– Милая моя, но я не готов! – смеется профессор. – Где прикажете вас принять – на этом столе?! Да, я веду практику на дому, но сейчас в моей квартире идет ремонт. Ужасный, нескончаемый ремонт! Столовая, гостиная, спальня, библиотека, смотровая, приемная – все заняли эти несносные рабочие, которые целыми днями беспрестанно шумят. Они мешают мне думать, работать, жить, в конце концов! Только и остается – выкрадывать спокойные часы по ночам, когда они прекращают свою бесконечную возню. В собственном доме – я вынужден работать по ночам, при свете лампы. Как мышь! – он кивает на лежащий перед ним лист бумаги. – К счастью, этот кошмар скоро закончится. Груня обещала, что ждать осталось совсем недолго.

– Груня? – Илона никак не может сообразить, что происходит: светило отказывается помочь?

Гвоздь впился в тело до невозможности глубоко – ее словно насадили на шампур.

– Груня все знает, – профессор берет со стола чашку, подносит ко рту и в предвкушении чмокает губами. – Мой ангел-хранитель, без нее бы я – пропал. Выясните у нее, когда этот бедлам закончится, – через неделю, через месяц, – и приходите.

Вконец измученная стыдом и непониманием Илона поднимает взгляд.

– Я не могу ждать, профессор.

– Тогда… – он растерянно помахивает чашкой в воздухе, – …приходите ко мне в клинику. Я принимаю там по четвергам… или по пятницам… Уточните у Груни.

Илона вскакивает со стула (а вернее, с гвоздя) и бросается на колени перед профессорским столом.

– Не отказывайте, профессор! Помогите! Вы – моя последняя надежда!

– Нет-нет! – кричит вдруг Лейбе неожиданно тонким голосом. – Я ничего не знаю! Груня знает! Идите к Груне!

– Только вы можете спасти! Вы же гений! Светило!

Илона на коленях подползает к столу, роняет заломленные руки на столешницу. Светло-серый вихрь поднимается из-под ее рук – становится видно, что под слоем пыли обивка стола имеет насыщенный зеленый цвет. Пыль покрывает все: столешницу, письменные приборы, открытую чернильницу с засохшим озерцом чернил в глубине, девственно-белый лист бумаги и лежащее на нем перо с обломанным концом.

Испуганно отпрянувший профессор выставил перед собой кофейную чашку, словно защищаясь. Чашка – с широкой трещиной и абсолютно пуста.

– Простите, ради бога, – Илона медленно отползает на коленях обратно.

Солнце бьет сквозь грязные разводы на трехстворчатом окне, и пушисто-кудрявый нимб вокруг лысины профессора наливается ярким золотом. Он ставит чашку на поднос, восстанавливает учащенное дыхание. Затем выбирается из-за стола и, все еще настороженно поглядывая на Илону, берет в руки большую жестяную лейку. Струи воды льются из дырчатого жерла в большую деревянную кадку, из которой торчит сухая, ощетинившаяся обломками высохших ветвей корявая палка – скелет давно умершего дерева.

– Простите меня, ради бога, простите, – шепчет Илона, поднимаясь с колен и отряхивая платье. – Простите, простите…

– Хороша? – профессор смущенно улыбается и ведет пальцем с длинным обломанным ногтем по морщинистому стволу. Откидывается назад, любуясь. Распахнутыми ладонями оглаживает несуществующие листья.

– Всего доброго, – Илона пятится к двери.

– Жду вас в клинике, – Лейбе прощально кивает, не отрывая взгляда от пальмы.

Дверь открывается на секунду раньше, чем Илона ее толкает. В проеме – гигантское тело Груни, подает пальто и шляпу. Подслушивала, понимает Илона.

– Правда ли профессор Лейбе принимает в клинике по четвергам? – спрашивает она в темноте коридора.

– Вольф Карлович не выходит из своей комнаты вот уже десять лет, – отвечает Груня.

Гений.

Вольф Карлович мотает головой. Каждый раз ему неловко выслушивать подобные восторженные эпитеты от пациентов и студентов.

Светило.

Какое там!.. Маленький мальчик, стоящий на берегу океана, – вот кем он себя ощущает в науке. И не стыдится признаться в этом с кафедры, глядя в широко распахнутые глаза учеников.

Только вы можете спасти.

Увы, и это неправда. Организм пациента спасает себя сам. А врач только помогает, направляет его силы в нужное русло, иногда убирает лишнее, ненужное, отжившее. Путь к выздоровлению врач и больной проходят рука об руку, но главная партия, решающий ход всегда – за пациентом, за его волей к жизни, за силами его организма. Студенты старших курсов, уже приобщившиеся к тайнам фармацевтики и имеющие за плечами пару элементарных хирургических операций, иногда решаются спорить с ним об этом. Милые оперившиеся птенцы…

А не пора ли в университет? Визит экзальтированной девицы выбил его из привычной жизненной колеи, и Вольф Карлович растерялся, запутался. Во сколько у него сегодня первая лекция? Зависит от того, какой сегодня день недели.

А какой, собственно, день?

Лейбе смотрит на часы – стрелки неподвижно застыли на циферблате.

Он берет со спинки стула профессорский мундир – и понимает, что это старый отцовский халат. А где же мундир? Тот самый – плотного сукна, глубокого синего цвета, с форменными пуговицами – на каждой расправил крылья строгий двуглавый орел? Тот самый, где на груди сияет белоснежной эмалью узкий ромб – значок профессора Казанского университета? Тот самый, с которого Груня каждое утро сдувает пылинки? Верно, она и унесла его чистить.

Вольф Карлович делает шаг к двери. Гладкая ручка податливо ныряет в ладонь. Он долго теребит ее – словно дружески пожимает двери латунную руку – потом резко тянет вниз и шагает в открывшуюся черную бездну коридора…

Груня истово трет мыльной тряпкой закопченный бок кастрюли, и белая пена пузырится на жирной керосиновой саже, чернеет. С появлением Степана в ней проснулось желание оттирать посуду до нестерпимой, зеркальной чистоты, и профессорские тазы и сковороды засверкали в ее мощных руках невиданным доселе, глаза режущим блеском.

Спиной ощущает уткнувшиеся ей промеж лопаток недружелюбные взгляды соседок. Пусть смотрят, стервы. Не любят ее в коммуналке крепко – за то, что ведет себя в квартире как хозяйка. А кто же она? Хозяйка и есть. Здесь каждая стена, каждая половая доска, каждый плинтус, каждая загогулина на резных белых дверях знает ее руки – все ими сотни раз подметено, вычищено, отмыто и натерто.

Когда в тысяча девятьсот двадцать первом в профессорскую квартиру стали подселять жильцов, она держала оборону крепко: тщательно отобрала самые ценные вещи и перетащила в свою комнату (обеденные и чайные сервизы, столовое серебро, тяжелые подсвечники, бархат-

ные портьеры – им, что ли, оставлять, полуграмотной деревенщине?!); заняла на кухне лучший стол, а в коридоре – самый большой шкаф, да еще и антресоли в придачу; темным осенним вечером отнесла управдому огромный, как подушка, увесистый, как камень, тускло сверкающий серебром чернильный прибор с именной надписью “Профессору медицинских наук В.К. Лейбе с глубочайшим уважением от ректора Казанского Императорского университета Г.Ф. Дормидонтова” – не пожалела (с управдомами нужно дружить, дураку ясно).

И стала ждать.

Профессору, к тому времени уже надломленному произошедшими в стране переменами, сильно досталось в войне с белочехами, он впал в немилость у новых университетских ректоров (а их в первые годы Гражданской сменилось немало), практику в клинике прикрыли… И однажды утром Вольф Карлович не вышел из комнаты. Его никто не хватился. Одна только Груня, принеся ему на завтрак чашку травяной бурды, которую профессор приноровился пить по утрам вместо привычного кофе, посмотрела в его радостные, не замутненные более земными печалями голубые глаза и тихо охнула. Сначала испугалась. Потом поняла: вот оно, дождалась. Быть ей в квартире хозяйкой.

Она терпела жильцов стойко, как клопов. Просто не знала, чем травить. Степан, возникший в ее жизни пару месяцев назад, – знал. Начать решил с самого легкого – с профессора.

Груня сомневалась недолго. Ухаживать за полубезумным бывшим хозяином ей уже до смерти надоело.

А быть для Степана грушенькой, яблонькой, смородинкой, изредка (прости, Господи! грешна, каюсь…) даже черешенкой, хотелось – тоже до смерти.

И вот уже – *письмо* написано и опущено в почтовый ящик (Груня тогда вспотела щедро, по-лошадиному, выводя под Степанову диктовку длинные и заковыристые слова, значения которых не понимала: буржуазный – через *у* или *о?* германский – через *е* или *и?* шпион – через *о* или *е?* контрреволюция – с одним или двумя *р?* слитно или раздельно?..). Если Степан прав – скоро *они* придут, чтобы освободить профессорский кабинет с трельяжем чудных окон, смотрящих на старинный парк, с пахнущими воском полами и тяжелой ореховой мебелью. Освободить для Груни, ждущей своей очереди на счастье уже долгие десять лет. А потом – как там Степан утром сказал? – не век же им в двух комнатах ютиться…

Груня ополаскивает кастрюлю в тазу. На кухне вдруг становится очень тихо. Соседки в ее присутствии обычно не разговаривают, лишь переглядываются. Но сейчас тишина за Груниной спиной – тягучая, непривычно тяжелая. Истошно, будто захлебываясь, булькает чей-то суп.

Груня оборачивается.

На коммунальной кухне стоит профессор Лейбе.

Соседская девчонка, все время путавшаяся под ногами на своем хромом трехколесном велосипеде, испуганно тренькает в звонок – дзынь! – и спрашивает в тишине: “Мама, это кто?”

Женщины застыли, кто – с поварешкой, кто – с утюгом, кто – с тряпкой в руках. Смотрят на Лейбе во все глаза. А он смотрит только на Груню.

– Где мой профессорский мундир? – спрашивает высоким от волнения голосом.

Ее рука сжимает тряпку, и мыльная пена сочится меж пальцев, звонко капает в таз.

– Где мой профессорский мундир? Груня, я вас спрашиваю.

– Давайте поищем в комнате, профессор, – говорит она внезапно севшим голосом. – Пройдемте в комнату.

– Я там уже искал, – упрямится Лейбе. – Немедленно подайте мне мундир. Я опаздываю.

Соседки ощупывают огромными от любопытства глазами тщедушную фигурку профессора, переводят взгляды на Груню, затем обратно.

Неужели так бывает – десять лет не помнил, и вот… Именно сейчас, когда со дня на день должны прийти *они*… Не пить Груне кофе из профессорских чашек, ой не пить… И нужна ли

она будет Степану такая – с одной малюсенькой комнатенкой в коммунальном муравейнике… Толстые Грунины пальцы, покрытые белой, лопающейся на воздухе пеной, холодеют.

– Так вы дадите мне мундир?!

Под прицелами внимательных соседских глаз она залезает на табурет и тянет с антресолей огромный фанерный чемодан. Роется в нем и достает со дна измятый, местами кружевной от моли и белый от пыли мундир.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.